

18+

Сергей Кучерявый

Тени Сути



Сергей Кучерявый

Тени сути

«Издательские решения»

Кучерявый С.

Тени сути / С. Кучерявый — «Издательские решения»,

Альтернативный взгляд на жизнь и деятельность Исаака
Ньютона. Исторический роман. История начала Тайного Правительства. Тайный
Орден. Магия. Государства и их правители. Петровский переломный рубеж
России.

Содержание

Эпиграф	6
Глава первая	7
Глава вторая	40
Конец ознакомительного фрагмента.	56

Тени сути

Сергей Кучерявый

© Сергей Кучерявый, 2026

ISBN 978-5-0069-9864-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Эпиграф

«Один мудрый искусник создал замечательную машину со сложным устройством. Он хотел лишь одного: чтобы тот, кто взглянет на эту машину, познал мудрость её создателя и непременно понял его суть. Человек, взглядывающийся в устройство машины, решит поначалу, что в ней есть множество лиших, не связанных между собой деталей, как будто попавших в неё случайно и не приносящих ни пользы, ни вреда. А потому он будет присматриваться лишь к тем частям, которые на первый взгляд кажутся основными. Само собой, следуя такому подходу, человек никогда не поймёт истинной мудрости машины, ибо не охватит взглядом всего механизма и допустит множество ошибок в своих выводах. В результате он лишь посмеётся над замыслом машины и её устройством, заявив, что если бы её создавал он, то сделал бы это лучше. Ведь конструкция машины представляется ему неисправной.

Пойми же, что тот, кто наделён разумом, ничего не сделает попусту, т. е. бесцельно. Лишь неразумный может сделать что-то просто так, чтобы затем отбросить результаты содеянного. Ведь у него нет причин для наблюдения за выполнением действия, поскольку оно не преследует никакой цели. Зачем же ему наблюдать? Но если он большой глупец, то ему представляется, будто он наблюдает за выполнением действия, хотя оно и бесцельно. А потому, если взглянуть на устройство природы, разве можно подумать, что её механизм и многочисленные части представляют собой цель без провидения?..»

Бааль Сулам. Плод мудрости

Глава первая

Пламя неистово порывалось вперёд, и с каждым мгновением, с каждым новым вздохом оно всё сильнее и безудержнее ускоряло темп своей пепельно-алой игры на выживание, при этом ни на миг не прекращая с треском и азартом завоёвывать всё новые и новые цели. И хмелея от своих же собственных языков, от своих же жгучих порывов, что так безумно и так сладострастно опоясывали весь тот белый свет, пламя отправляло в небытие абсолютно всё, что стояло на пути. И поражая мир жаром, грацией, изгибами, огонь в своём низменном танце то и дело всё пытался войти, ворваться, влететь в историю. Вписаться в тот шлейф вечности, в тот будоражащий поток людских воспоминаний, что чуть позднее наверняка с важностью и долей горечи будут обязательно судить о том пламени как о некой главной причине каких-то там последующих событий.

Вторая половина XVII века и без того охотно баловала Англию рядом крупных потрясений, но одно дело, когда мятеж, пожар или огонь души — это участь всего королевства в целом, а другое дело, когда вся подобная череда событий происходит в одной отдельно взятой жизни. Тот пожар случился зимой 77-го года, да и признаться, он не был каким-то масштабным и глобальным, скорее это был частный, почти даже рядовой случай, но тем не менее сгорело всё... всё, что только могло гореть. Огонь, не спрашивая, аннигилировал всё, что было так сподручно, привычно, а главное, дорого хозяину, неизменному постояльцу этого доверху забитого всевозможным хламом жилища, по крайней мере, так это выглядело со стороны. Являясь резидентом Тринити-колледжа, профессор кафедры математических наук сэр Исаак Ньютон в преддверии нового года был едва ли в силах. Ведь на протяжении последних нескольких лет его голова, его особое, нестандартное мышление регулярно соприкасались с плеядой волн, и волны те носили непросто траурный характер и какие-то там поверхностные расстройства, а имели они уж куда более глубокие и горестные амплитуды, нежели самые обычные стечения обстоятельств. И каждая новая лавина того смутного периода являлась ему как некая наглядная гильотина, которая нагло и без устали, скрежеща, каждый раз срывалась и с диким грохотом где-то рядом падала вниз, как бы иллюзорно и шутливо давая о себе знать. Тогда, вначале, тот самый первый его удар пришёлся на затяжной период майских гроз, и был он пережит профессором крайне болезненно. С того времени на его сердце, во всём его мироощущении оставался незаживающий рубец невиданной тоски. Те душевные мытарства сэр Ньютон испытывал в связи с кончиной своего друга, коллеги и наставника — Исаака Барроу. Их связывала не только научная деятельность, хотя все их неформальные, а порой и вовсе конспиративные встречи были посвящены именно этому, они были связаны какой-то единой незримой нитью, даже несмотря на то, что супротив они оба обладали совершенно полярными темпераментами. От такого траура сэр Исаак Ньютон буквально терял землю под ногами, но на тот момент сезон игр смерти и несчастий только лишь начинал набирать обороты. В сентябре того же года из предельно узкого круга лиц, кого Сэр Ньютон без оглядки впускал в своё сердце, выбыл ещё один человек — первый секретарь Королевского общества Генри Ольденбург. До какой степени кембриджский профессор Исаак Ньютон был с ним близок, откровенен и взаимно искренен, если учитывать не только их официальные, завизированные письма, остаётся загадкой. Тогда, ещё в самом начале 70-х, мистер Ньютон, благодаря своему изобретению — первому зеркальному телескопу «карманных» размеров, внезапно стал известен в широких научных и правительственных кругах, также стал членом Королевского общества, где, собственно, и председательствовал мистер Ольденбург. Но, как правило, внезапный массовый успех и наивность открытого творческого сердца — увы, вещи несовместимые. И лишь в общении с мудрым Ольденбургом Исаак Ньютон едва ли находил спасение от нескончаемых нападков бушующего шторма неприязненных взглядов и сумасбродной молвы, что тут же последовала после

его прорыва. Сложно сказать, по каким параболам да по каким кривым пределам психики тогда метался Ньютон, но к концу того же злополучного 1677 года его скулящую темень дополнил ещё и случившейся в его доме пожар. И разумеется, после всего случившегося думать о чём-то трезво и, более того, что-то планомерно выполнять из ранее намеченных планов профессор Ньютон явно не мог. Лекции, мысли, цифры, тут же переживания, внешнее равнодушие, людская травля были неотъемлемыми элементами, склонявшими его нутро к расстройствам и паранойи. Всё это безумие томно шло круг за кругом, и на какое-то время оно даже зависло, обманчиво указывая как бы на дно этой чёрной полосы, но вскоре его накрыла наивысшая форма беды. Ко всему прочему, финальным аккордом всех недавно постигших его несчастий явилась внезапная весть о том, что тяжело, а главное, неизлечимо заболела его мать. Ньютон прекрасно понимал, что его пребывание в общем потоке жизни ограничено каким-то невидимым футляром, что он в какой-то мере даже схож с той мышью, что когда-то бежала в его экспериментальных механизмах и крутила под собой колесо. Да, всё это бег на месте, причём бег по участку жизни с полной потерей опор под собой, размышлял он, перемежая весь этот анализ своего ментального кипения с воспалёнными мыслями мира науки, также никогда не покидавшими его и без того тяжёлую голову. Где-то внутри, где-то там, в глубине своих лабиринтов, он ясно понимал, что это его «колесо» крутится куда-то не туда, что движется оно не просто в обратную сторону, и даже не поперёк какой-то общей дороги, а крутится оно просто не туда. Тем самым подобные заключения щедро подкармливали его неистовый страх, уверенно шедший с самого детства. А мучил он не столько его внешнее бледное безмолвие, а ковырял он, как правило, его внутреннюю бездну. Пролонгированный страх того, что все его познания, выводы и озарения, что случились исключительно у него внутри, что все они попросту никому не нужны, что всё это тот же самый бег на месте, который с каждым годом неимоверно и безвозвратно тяжелит его существо. Да, Исаака Ньютона, как и прежде, никто не понимал, а тут ещё и жизнь со своими событиями окончательно подводила к черте, Ньютон попросту был вынужден ретироваться на неопределённый срок, оставив на время кафедру и приостановив все активные восстановления некогда сторованных его научных записей. Вообще, практически любое восприятие реальности ощущалось им как не более чем просто туман. Сплошь белый густой туман с редкими островками бреши, что изредка напоминали ему о людях в его окружении, о делах и о мире в целом. Сложно судить о человеке, когда тот всё время таковой, отрешённый и нелюдимый, сложно узреть в нём нечто болезненное и внутреннее, ведь для обнаружения его пропасти сердечной ему как минимум необходимо являть миру свои эмоции и хоть какие-то переживания, которых у Ньютона ни в радости, ни в горести не наблюдалось. Или же необходимо было иметь друга, который всегда и без слов сможет всё понять, ощутить и даже, быть может, помочь, но так или иначе, все эти земные проторённые пути обходили его стороной, ну или же он их сторонился, это было уже не столь важно. В тот мутный период было принято решение об очередной, вероятно на этот раз более затяжной, поездке Исаака Ньютона домой, в родное поместье Вулсторп.

Тем временем все дальнейшие продвижения по ремонту и восстановлению квартиры взяла на себя небольшая группа преданных студентов, буквально единицы молодых людей, местами даже несколько изрядно фанатично настроенных учеников. В их числе был и аспирант, мистер Джон. Не сказать, что он являлся каким-то уж прямо рьяным математиком или каким-то отчаянным приверженцем научной деятельности, нет, в этом смысле он отличался нормальностью. Но однажды он всё же каким-то боком был вписан в это немногочисленное окружение Ньютона, более того, в тот самый непростой период конца 70-х Джон внезапно оказался ещё и старшим, в некотором смысле куратором этой произвольной группы молодых учёных. Конечно, на его счёт в обществе блуждали сомнения, поговаривали даже о некой протекции со стороны Лондона, мол, довольно уж как-то странно и легко всё у него получается, но тем не менее, кроме разговоров, никакой конкретики те домыслы в себе не несли. На самом деле

тут необходимо признать тот факт, факт традиционный и уже исторический, что некоторая часть студентов Англии, в том числе и студенты Тринити-колледжа, некоторые из них были не особо падки на глубокие знания. Такие студенты, как правило, просто шли к своим будущим постам по престижному учебному маршруту, опираясь на свои фамильные устои, отчего до таких середнячков, как Джон, никому не было дела. И исходя из таковых данных, отсутствие профессора на месте большую часть студентов, посещавших его лекции, особо не порадовало, как, впрочем, и не огорчило. Кучка последователей его математических идей, они, конечно же, по вечерам собирались и обсуждали лекции. Величина этой самой кучки была настолько незначительна, что все они едва ли занимали скромный уголок, как правило, университетской библиотеки. Мистер Ньютон на своих лекциях частенько любил уходить куда-то в дебри самой сути математики, астрономии, оптики и механики. Временами профессор погружался вообще в какую-то собственную, понятную лишь ему одному игру научных расчётов, в процессе которой некоторые ушлые студенты, прознав эти его глубокие особенности, могли совершенно безнаказанно, а порой даже и открыто, нагло покидать аудиторию, зная наверняка, что этот профессор-«лунатик» их уж точно не заметит.

Кембридж. Англия. Зима. Конец 1670-х

Собираясь взобраться в дилижанс, мистер Исаак Ньютон на мгновение замер и оглянулся, он как-то растерянно и пристально, насквозь уставился на свой крошечный багаж, который так старательно накрывал неповоротливый угрюмый кучер под дотошным и пристальным контролем провожающего его мистера Джона.

— Сэр, сэр Ньютон, — немного суетился Джон, — я вам тут, это, собрал немного в дорогу, а то вы ведь совсем налегке. Ну куда же вы свою мокрую одежду кладёте? — вновь Джон переметнулся на свою другую, слегка нервозную социальную сторону. — Эй, мистер! Вы же не один в карете поедете! Тут ещё люди будут сидеть, да! А вы тут вещи свои вымокшие раскидали! Эй, мистер, я с вами говорю! — уже заведённый Джон продолжал суетливо крутиться подле открытой дверцы, то и дело повышенно обращаясь к плотному пассажиру в затасканном военном сюртуке с небрежным лицом.

— А? Чего? Чего надо? — неприветливо рявкнул тот, ярко демонстрируя всем наличие манер и прочих условностей, указывающих на почитание его военного мундира.

— Ну что это такое? — Джон, протягивая слова, вполголоса всё причитал, недовольно мотая головой. И дёргая при этом уже севшего Ньютона за рукав, напоминая то ли ему, то ли себе, что пора в путь, Джон снова входил в поле молчаливого профессора. — Сэр, я сейчас, — он оставил ему небольшой дорожный свёрток и, не прикрыв дверь, метнулся к кучеру.

— Э-эй! — недовольно завопил пассажир. — А чего, дверь кто-нибудь там закроет, нет? Эй! Кучер! Где ты там? Чёрт бы тебя побрал!

— Слушай, дружище, — Джон негромко и сдержанно обратился к угрюмому кучеру. — Эй! Ты чего, глухой, что ли?

— Это вы мне, мистер? — отреагировал тот, смиренный и неторопливый по своей сути.

— Да тебе, тебе, — добродушно Джон подзывал его к себе, — слушай, дело есть.

— Какое ещё дело? — лениво бурчал тот, вовсе не собираясь придвигаться к молодому человеку, стоявшему подле дрожек.

— Да слезь ты! Иди сюда! — уже резко произнёс вспыльчивый Джон.

— А у нас чего, сегодня ласковый май на улице? Дверь кто-нибудь закроет? А? Эй, кучер! Где ты, сволочь, там пропал? Чего мы там, едем, нет? — военный пассажир продолжал противно верещать изнутри дилижанса. Лицом, да и манерами он более походил на завсегдатая шумных трактиров, нежели на военного.

— Погодите минуту, я дверцу прикрою, — пробасил кучер Джону и отошёл, шаркая ногами, а сам Джон тем временем вновь переменился в лице и по-актёрски мило улыбнулся серьёзному Ньютону, который продолжал равнодушно глядеть то ли на него, то ли сквозь него.

— Ну, чего у вас там? Какое ещё дело? Надо чего? Доставить там, передать или ещё что? Давайте скорее, ехать надо, — перебирал кучер, скромно бормоча уже знакомые ему просьбы. Вид у него, конечно, был суровый, был он вообще весь какой-то угловатый, хотя глаза его и выдавали, они как-то по-детски открыто сияли застенчивостью. Он, укутываясь в дождевую накидку, серой глыбой встал совсем рядом с Джоном.

— Короче, смотри, — Джон разжал ладонь, на которой красовалась золотая монета, но пока не протянул её поросшему бородой кучеру, — видишь? Гинея. Она настоящая, золотая! Нужна тебе такая? Её тебе и на детей, и на жену, и на баб с выпивкой хватит! Нужна? Или нет?

— У меня, это... Мистер, у меня нет детишек, — продолжал тот по-медвежьки топтаться на месте, выводя своей медлительностью тощего джентльмена из себя.

— Ты чего, дурак, что ли?

— Нет, мистер... Я не знаю, мистер, — в глазах его стояла какая-то искренняя, какая-то натуральная, неподдельная оторопь. Его природное неумение врать, а также мыслить быстро вынуждало Джона сильно и местами даже истерично нервничать.

— Тебя как звать?

— Пол.

— Ладно, Пол, объясню иначе. Вон тот мистер, ну, с которым я пришёл, вон, который у тебя в карете сидит, помнишь его?

— Ну да, смурной такой, помню, конечно.

— В общем, так, вот тебе гинея, на, держи, — Джон, оглянувшись по сторонам, уверенно протянул ему золотую монету, да так, чтобы она точно оказалась у него в ладони. — В общем, дорога дальняя, он до Грэнтэма едет, до твоей конечной. Будь добр, присмотри за ним, он немного, это... как бы лучше сказать...

— Хворый, что ли?

— Чего? — задумался тот на мгновение, шелестя сухими озябшими руками.

— Больной, говорю? Заразный? Нет? Если заразный, то это не надо. Совсем не надо.

— Да нет, не больной он! Он, это, короче, рассеянный. Он расстроенный очень сильно, — Джон не нашёл ни одной лживой, сработавшей бы наверняка версии, как сообщить ему кусочек самой что ни на есть правды, ведь такое никому из людей не чуждо. — Понимаешь, Пол, это мой очень близкий и очень дорогой мне человек. И в его жилище недавно случился сильный пожар, он очень расстроился. И в дальней дороге, сам знаешь, много чего случается. Я тебя прошу, пригляди за ним, чтоб ел, пил, спал, где будете останавливаться на ночлег, чтобы прохиндеи всякие не приставали, я тебя прошу. А потом, когда приедете, там, в Грэнтэме, усади его в кеб, ему там недалеко ехать.

— Пожар — это дело такое, — здоровяк Пол стоял, словно та мельница в безветренную погоду, что по дюйму в час крутит жернова, Пол точно так же, еле-еле переваривал информацию. Отчего и без того весь дёрганый Джон уже изнемогал и чуть ли не плевался желчью. Но виду, по крайней мере, он не подавал, даже старался не обращать внимания на периодические развязные выкрики того до ужаса вредного пассажира. Джон лишь сжимал скулы от злости и одновременно от беспомощной жалости к сэру Ньютону, изводя себя ещё сильнее, ведь профессору предстоит ехать с ним в одной карете.

— Ну так что, Пол? Поможешь? Оставишь ли ты эти деньги себе или поделишь их с напарником — мне всё равно. Кстати, а где он?

— Я понял вас, мистер. До Грэнтэма я буду следить за этим мистером и помогать ему, если понадобится. А Джек, он позже, он после обеда там, на дороге, будет ожидать меня. Он это... к своим там, это... А я его там, это, того, потом забираю. Он в аккурат живёт там, где мы лошадей меняем, на разъезде на первом.

«М-да, он, конечно, славный малый, этот дровосек, этот Пол, этот бородатый викинг. Чёрт, да он прям точно такой же здоровый и медно-рыжий, как и те, вероятно, его далёкие

предки. Зато честный, хоть и тугой, добродушный такой», — думал Джон, когда был вынужден молча стоять и слушать все его путанные бредни.

— Ладно, ладно, я понял тебя, не продолжай. Спасибо тебе, Пол. Ты настоящий человек! Давай, пора уже, пока твой пассажир там буйствовать не начал. Я на тебя надеюсь, Пол! Счастливого пути! — уже вслед прикрикнул Джон. Он немного отошёл и, улыбаясь, по-дружески махнул рукой отъезжающей чёрной карете с красной полосой, что опоясывала кузов и на которой также белой крупной эмблемой красовалось название транспортной компании.

Дилижанс отъехал, а Джон, задумавшись, всё продолжал стоять на ветру на опустевшем лобном месте, он стоял и молча, скупно глядел вслед уже почти совсем скрывшейся вдали карете. Плавнo покачиваясь, кеб отдалялся всё дальше, задевая невзначай у Джона внутри какие-то холодные отголоски тоски, что медленно растворялись в атмосфере зимней утренней серости. А тем временем в пустоте сквера, что тянулся вдоль площади — стоянки кебов, клочьями хозяйничал туман. Меж голых древ он как-то совершенно вольготно и безнаказанно распространял немую тишину, он сплошь сеял чувство одиночества, местами усиливая, уплотняя его ещё чуть сильнее, а местами оставляя фрагменты надежды, туман худел просветами. Новый день изначально был окутан слоями, и также он был наполнен промозглой моросью и странным чувством безвременья. Утренний город, кутая в саван улицы, деревья, дома с тянущимися вверх чердаками, что терялись где-то там, в хмуром небе, пронзая его своими остриями, промеж этого безмолвия, всё же изредка напоминал о своём живом существовании, заставляя редких прохожих таки преодолевать этот расстелившийся удел нигилизма, олицетворяющий вечность и хладное спокойствие. Стойкая морось по-утреннему искренно обнимала каждого прохожего, заполняла собой каждый переулок, каждый закуток, мимо которых, согнувшись, следовал Джон. Буквально каждое тёмно-красное кирпичное здание, официально вставшее вдоль строго вымеренных улиц, было окутано туманом, а по некоторым стремящимся вдаль дорогам так и вовсе струились клубы безвестности, но что самое удивительное, всё это действие имело силу лишь в границах города. Стоило лишь немного отъехать, как туман становился едва ли не прозрачным, и выходило так, что только здесь, в этой утренней невесомости Кембриджа, таилась та плотная белёсая тишина, которую ещё пока никто не смел нарушить. По крайней мере, так казалось внезапно нагрянувшей на Джона романтике, пусть вокруг его одиночества было всё настолько пустынно, что можно было бы просто взять и раствориться в этой влажной прострации. Джон, забравшись куда-то вглубь себя и проживая там все эти мгновения, настолько увлёкся своими иллюзиями, что начал слышать, опять же как ему казалось, свои мысли, которые едва ли заметным эхом приятно голосили где-то в атмосфере этого всеобщего бархата. Динь-динь, динь-динь — откуда-то доносился тонкий звук колокольчиков. Он летел и соединялся с повисшим в воздухе серебром. Умиляясь, Джон шёл по бульвару, и внахлест его красивым мыслям тот тоненький звук колокольчиков вдруг начал близиться и усиливать амплитуду.

— Эй! Эй! С дороги! Раззява! — внезапный свист и громкий крик стремглав пролетели рядом с челом, едва ли не задев его. Вместе с грохотом кареты городского кеба поперёк всей той внутренней идиллии Джона наслаивалась, теперь уж отчётливо, отдаляющаяся земная брань извозчика. Джон, испугавшись, отскочил, зло посмотрел вслед лихачу, и ступая по мокрым овальным камням очередной площади, он направился по знакомому пути к родным стенам колледжа. Все его мысли так или иначе были связаны с Ньютоном, он одновременно и переживал за него, за его глубинные расстройствa, за его тотальную невнимательность в быту, и тут же он приземлённо размышлял о делах текущих, о кафедре, о ремонте и, разумеется, о личном. Джон был одним из немногих, кто не завидовал Ньютону, кто совершенно просто и бескорыстно мог быть с ним рядом, беседовать, проводить время в лаборатории и вечерами так же разделять совместные интересы в кругу нечастых компаний. Джон, признаться, был доволен всем, ведь для него, как он сам считал, всё складывалось как нельзя вовремя и кстати.

Здесь была активно включена его личная заинтересованность, то ли в науке, то ли в делах его будущей карьеры, но также отдельным витком удачи на него пала и неофициальная просьба, исходящая от приближённых лиц профессора. В каждодневной реальности этого самого окружения его как такового-то и не было подле, но тем не менее люди из того же Королевского сообщества, а также люди прочих серьёзных сторон, корни которых уходили в глубины Лондона, они на самом деле были не совсем равнодушны к расстройствам мистера Ньютона. В связи с чем именно ему, Джону, как бы неофициально и, быть может, даже тайно, они и доверили курировать, присматривать и помогать мистеру Ньютону во всём. Их учёные посиделки случались не так уж часто, но по содержанию они были весьма продолжительны, и вот однажды на одной из таких конференций, после очередной какой-то траурной церемонии, к Джону и подошёл строгий человек и представился членом Королевского учёного совета. Джон на радостях студенческого тщеславия тогда сразу, не раздумывая принял это закрытое предложение. От него требовалось немного, так, неприметная общечеловеческая забота о нестаром профессоре и помощь в разрешении самых что ни на есть заурядных проблем, а также в его обязанность входило изредка обо всём писать в личном письме этому, как он представился, мистеру Брэкстону. После чего многие привилегии начали расти, а авторитет Джона как-то сам по себе непоколебимо креп. Домыслы тогда, конечно, активно кочевали молвой, уверяя всю городскую манерную кодлу в том, что Джон является неким близким, а быть может, даже и вовсе родственным образом причастен к самому Королевскому сообществу, отчего все и старались держаться его окружения. Впоследствии, конечно, до Джона долетели все эти комья домыслов, но разоблачать, разрушать все эти уже крепко сформированные конструкции он не стал, тем более зачем это было делать, если от этого он имел самую прямую выгоду. Окружение его признаёт, он смело движется, ступень за ступенью, по пути к возвышению, да и ничего постыдного взамен он-то и не делает, если так разобраться, размышлял он первое время. Так и повелось: отчёт в неофициальном виде регулярно улетал, порученное Джону дело было под контролем, а болтливые вести, время от времени долетающие до юных учёных из высшего света, они, да, бывали едки, но в обществе они были такими же иллюзорными, как и личность того таинственного покровителя, мистера Брэкстона. На протяжении нескольких лет их скрытного сотрудничества он по-прежнему продолжал находиться в стороне, ну а Джону также, соответственно, не хотелось копаться и выяснять, кто есть на самом деле этот самый мистер Брэкстон, — всех всё устраивало. Но самое интересное, а быть может, даже и самое отвратительное было то, что главный виновник всей этой круговерти, он сам ни сном ни духом не знал и даже не догадывался о подобных движениях за его спиной. Конечно, наверняка находились те, кто по доброте душевной смело и в лицо высказывал ему свои подозрения, но таков уж был склад мистера Исаака Ньютона, что, по сути, любая житейская пульсация оставалась им незамеченной. Да и вообще, вся та научная компания при кафедре профессора математики сэра Исаака Ньютона, она, в общем-то, не была схожа ни с одним известным миру форматом подобных мужских собраний, скорее это больше напоминало некий детский занятный кружок по интересам с пометкой: «Доселе неизведанное». Только вот детям, в отличие от взрослых дядек, подобные занятия в скором времени могли просто наскучить, но только не этим серьёзным сорванцам. Сам Ньютон на протяжении всех своих лет, как в одиночку, так и в окружении соратников, мог часами напролёт неподвижно сидеть, стоять, считать, наблюдая что-либо, будь то проявление стихий, или же просто глядя куда-то в прострацию, вероятно находя в ней изображения ответов и новых задач иных измерений. Ньютон часто впадал в состояние некоего безвременья, особенно когда изучал дыхание и шаги звёздного неба через им же созданный телескоп. Он фрагментарно отслеживал каждый миг, каждый всполох и взгляд иной жизни, напрочь забывая о своей.

Ближе к полудню туман рассеялся и пустынные улицы Кембриджа, наконец, вновь обрели знакомые черты, также перипетии города заполняли свои привычные маршруты всевозмож-

ными звуками и множеством смелых, робких, грубых и нежных шагов торопливых ног, что извечно куда-то спешат. Погода стояла хоть и безветренная, но была она крайне переменчива, и временами робкий дождик всё же прекращал моросить, а небо пусть и мгновениями, но всё же иногда решалось и приоткрывало завесу, даря горожанам какие-то надежды, впуская в их жизнь немного пусть и холодного, но всё же солнечного света. Свет не был ярким, золотые лучи не искрились ясной радостью, они едва ли не нехотя сползали в будний режим дня, волнами подчёркивая всю унылость зимнего вторника. Серые тяжёлые облака иногда и вовсе закрывали собой все эти неспешные потоки света, но настырные лучи английского полудня в союзе с редким порывистым ветерком всё же делали своё малое дело, и этих вкрадчивых мгновений было вполне достаточно, чтобы некоторые чувствительные личности смогли занять у себя на лице и сердце тихую улыбку. Признаться, Джон никогда не был романтиком, ни в период уж совсем юных лет, ни теперь, когда он уже более или менее уверенно стоял на ногах, будучи на рубеже окончания аспирантуры. Он, как-то напротив, всегда, во все годы своего становления отличался некоторой взвинченностью. Норов его был резок, действия отрывисты, а лицом он был зачастую хмур, не озлоблен, как ошибочно можно было предположить, взглянув на него со стороны, а именно хмур и меланхоличен был его облик. Джон не был злопамятен, его попросту не преследовал навьюченный груз ненависти, да, он мог выглядеть подобным образом, словно бы он регулярно чем-то недоволен, но намеренно следовать злости или пребывать в каком-то иррациональном утяжелении с извечно хранимой недосказанностью — ничем подобным, по крайней мере внутри себя, внутри своего мировосприятия, Джон не обладал. Обойдя в тот день несколько контор, специализирующихся на строительстве и ремонте, Джон всё же нашёл подходящих людей для необходимых работ. И раз уж выпал такой момент и мистер Ньютон будет некоторое время отсутствовать, в этот момент просто необходимо воспользоваться таким окном. Джон знал, что этот его инициативный жест с ремонтом никто не заметит и не оценит, более того, в обязанности некоего тайного социального куратора эти крайне близкие заботы не входили, но тем не менее он в одностороннем порядке всё же согласовал, озвучил все эти предстоящие дела с молчаливым безразличием мистера Ньютона и по-хозяйски решил навести в его доме необходимый порядок и закончить, наконец, ещё с пожара затянувшийся ремонт. Сам по себе день, конечно, был тихий, но Джон замёрз ещё с самого утра, когда провожал своего учёного наставника, а к полудню он и вовсе продрог до костей. И проходя мимо известной книжной лавки, он по пути решил заглянуть. Какая-то внутренняя его горделивость никогда не позволяла ему без веской причины просто взять и зайти в пусть и давно знакомый ему магазин, какой-то червь важности тормозил его в подобных ситуациях. Но в тот злополучный полдень вторника его визиту хорошенько поспособствовала та мерзкая сырость и давно уж пронизывающий его нутро холод. На ходу придумав идею о том, что именно сейчас, именно в эту минуту и ни на йоту позднее ему необходимо сделать заявку на некоторые новые и старые книги, некогда безвозвратно познавшие вкус стихии огня, он направился к входу в лавку. Джон смело дёрнул дверь со звонкими колокольчиками, и именно с рабочим визитом он вошёл вовнутрь.

— А, мистер Уайт! — внезапно мягко и тепло зазвучал мужской голос, он донёсся откуда-то из-за стеллажа. На что Джон привычно скупое и сухо ответил:

— Здравствуйте.

— Мистер Уайт, одно мгновение, — шебуршал тот чем-то незримо, — буквально мгновение — и я появлюсь. Вы проходите, не стесняйтесь, я сейчас.

— Благодарю, — озябший аспирант, не подавая никакого внешнего вида, деловито и равнодушно прошёл вперёд, слегка пошаркивая сапогами, то ли от усталости, то ли от излишней робости, демонстрируя пространству, как всегда, своё привычно недовольное выражение лица. Джон скромно встал и облокотился на небольшой строгий стэйшн, филигранно выполненный из красивого дерева. Внешне-то он, может, и не подавал никаких опознавательных

знаков насчёт своей обледенелости, но вот нутро его предательски жадно продолжало впитывать каждую лишнюю благуя минуту сухого тепла помещения.

— А вот и я! — торжествуя, появился мистер Роут. — Ещё раз здравствуйте! — учтиво, с улыбкой слегка поклонился хозяин гостю. Мистер Роут — человек небольшого, можно даже сказать малого, роста с врождённым обаянием, обострённым торговым чутьём и тёплым тактом соответственно. Ещё мистер Сэм Роут был слегка округлым мужчиной, что придавало ему особый шарм, а лет ему было чуть больше сорока. При помощи своей необычайной техники и какой-то совершенно магической харизмы он с лёгкостью мог расположить к себе кого угодно, даже такого буку, как Джон, а главное, выходило у него это не то чтобы намеренно и профессионально, а больше с удовольствием.

— Я что к вам пожаловал-то? Заявки накопились, — деловито начал Джон.

— А, позвольте, я угадаю, мистер Уайт! Прошу вас! — эмоционально, но негромко вскрикнул мистер Роут. Он с умилением и какой-то блестящей, интригующей загадкой в глазах, заведомо переводя свою просьбу уже в разряд риторических, продолжал заботливо крутиться подле, пробуждая в мироощущении Джона цепкие искры интереса. Мистер Сэм Роут к каждому посетителю имел свой подход, а к таким постоянным и ценным клиентам, как Джон, который часто закупался и по поручениям Ньютона, и по надобностям их внутреннего научного кружка при Кембридже, причём выискивать и закупать приходилось не только книги, к таким клиентам подход был не просто особенный, а скорее он был близкий и товарищеский.

— У меня времени нет. Совсем нет, — ни одна, ни физическая, ни ментальная, клеточка Джона не собиралась скоро покидать эту тёплую обитель, но тем не менее всё же необходимо было выдержать свой стиль, пусть и временами с поддёргивающимися от холода руками. Джон старался и был уверен, что выглядит он, как всегда, отлично. — Ну хорошо, хорошо, мистер Роут, только недолго, а то вы взглядом сейчас дыру во мне проделаете. Давайте. Удивляйте, — формально демонстрируя недовольство, Джон традиционно слегка покривил губы и, расстегнувшись, присел на гостевой, оббитый кожей стул, на который добродушно указывал жест хозяина.

— Итак! — начал тот. — Хм, знаете, Джон, ваше дело, оно, несомненно, в себе содержит большую важность, но позвольте, я зайду несколько с другой стороны. У меня в голове на ваш счёт существует один вопрос и два варианта ответов к нему. Вопрос: отчего у вас сегодня столь странный внешний вид?

— Чего? Какой ещё вид? При чём тут?.. — весьма отрывисто, но сдержанно попытался произнести Джон, как тут же его оборвал ну очень уж радушный мистер Сэм.

— Погодите, погодите, мистер Джон. Вы и вправду выглядите, ммм, несколько загадочно, что ли. Вы давеча или прям-таки лицом к лицу столкнулись с чем-то потусторонним, не из нашего, так сказать, мира, — расхаживал он взад-вперёд, вкрадчиво нагнетая, и взглядом, и жестами, леденящую интригу всеми любимого мистицизма, — или... с... пфф... м-да, ой-ёй-ёй, — подвесил он умело ужас и страх в пространстве.

— Ч-что «или»? — Джон обмер и даже на какое-то мгновение напрочь забыл о своём холоде, что очень глубоко забрался в его худощавый стан.

— Или... знаете, Джон, этот вариант, конечно, он очень страшен, но, увы, этот номер может случиться с каждым. М-да, да, мистер Уайт, м-да...

— Что «или»? Что «м-да»? Что там? Чего вы томите меня? — как-то одновременно всё активировалось у Джона в застывшем его сознании: и страх, и дерзость, и робость, и пробивная его наглость — ожило всё, что было в его характере. Всё это так неожиданно вскипело в нём, но опять же не выходило наружу, ведь явных причин для беспокойства пока что не было. Кроме повисшей интриги и хлопнувшей только что внутренней двери где-то там, за спиной, ничего более веского в списке тревожных причин не имелось. — Говорите же, мистер Роут!

— Этот вариант, мне сдаётся...

— Короче, мистер Роут!

— Или же, как вариант, тоже может иметь место быть...

— Ну!!!

— Вас настигла любовь?! — внезапно восклицая, протараторил Сэм. — Да? Да! Да? Вы, случайно, а быть может, даже и специально, такое тоже может быть, да-а, — безудержно, с восторгом и пеленой сладкой неги вещал мистер Сэм, стоя подле, — быть может, вы повстречали её?! Столкнулись с ней, с той безумно красивой девушкой?! И едва ли вы сегодня встретились с ангелом, отчего, вероятно, ваш внешний вид и стал таковым! Да! Да?

Джон был давно и хорошо знаком со всеми фокусами и штучками мистера Роута, его шутки были всегда безобидны, хоть изредка они и задевали его самолюбие. И в этот раз точно так же Джон, как водится, манерно скривил губы, вздохнул и, даже не успев отреагировать на весёлый смех рассказчика, на все его категорические заблуждения по поводу внезапных чувств, как в эту же самую секунду прилетела новая эмоция, но совершенно с другой стороны.

— Сэм! Сэ-эм! Мистер Роут! — отрывисто и пронзительно произнося его имя, стремительно и злобно вошла жена, она почти влетела в этот небольшой, по-домашнему уютный холл их магазина. Жена Сэма, миссис Мэри, по сравнению с мужем была весьма крупной дамой, и причём дамой она была заметно красивой, с невероятно жгучими, выразительными чертами лица, а также с несколько резким характером. Миссис Роут, по своему обыкновению, конечно, часто роптала на разглагольствующего по пустякам мужа, но никогда не переступала черту известных всем условных границ. Вообще, идиллия — это очень скользкая и хитрая штука, а сложность этого вожеленного явления заключена именно в отсутствии каких-либо правил, норм да определений по отношению к какому-либо постоянству этой самой идиллии между контактирующими лицами. Идиллия — это суверенитет каждой отдельно взятой семейной планеты, где, кроме их уважительного и взаимного волеизъявления, присутствует ещё и инертное стремление ко всем их возможным целям. Но вот стоит только задержаться в стагнации, в тёплой, комфортной, ленивой, не ведущей никуда обстановке, как на этом же самом месте их самая главная, пусть и аморфная, но тем не менее ценность — жизнь, она тут же затвердевает, и за отсутствием движения, внутреннего ли, внешнего, их жизнь превращается в камень, твёрдый холодный камень скованной семейной жизни. Глядя же на эту семейную пару Роут, предвзято можно было бы смело заключить, что здесь царят частые всплески ярости, а может, даже присутствует довлеющая тирания, не выходящая за пределы их совместной жизни, хотя на самом деле, если хорошенько приглядеться, всё было иначе. Чета Роут, как ни странно, всегда находилась в полнейшей гармонии, видать, они вовремя, а главное, одновременно и, возможно, очень давно поняли, разгадали эту несложную тайну о том, что все люди разные и каждый не обязан быть похожим на стороннего. В своё время их вообще даже подозревали в чересчур свободных взглядах. Тогда, в свете военных и политических событий 50-60-х годов, эту парочку некоторые пронзительные фигуры охотно желали считать либеральными активистами Оливера Кромвеля, но те юные, едва ли сблизившиеся, пылко влюблённые Сэм и Мэри были слишком уж умны для какого-то повального желания добиться свободы, и в жизни, и во власти, и в правилах любви. Мистер и миссис Роут всегда были предельно чутки, осторожны, и были они по-творчески подвижны, а проявлялось это в том, что совместно они запросто могли ввести в заблуждение кого угодно. Правда вот, с мистером Уайтом этот фокус выходил не всегда гладко из-за его, так сказать, извечной подозрительности и врождённого недоверия, но в тот промозглый вторник и ситуация выходила иная, да и сам Джон в тот день пребывал не в самом лучшем виде. Миссис Роут весьма стремительно ворвалась в эту маленькую мужскую компанию, она по-хозяйски близилась к гостю, и поверх восклицаний мужа она, не стеснясь, откровенно грозила ему кулаком: — Сэм, ты вообще хоть когда-нибудь будешь думать, прежде чем что-либо говорить? А, Сэм? Ну что ты чушь-то всякую мелешь? Здравствуйте, мистер Уайт.

— О! Вот вам, мистер Уайт, и подтверждение! Вот вам и доказательства! — торжествовал пузатенький Сэм, поглаживая свой шерстяной жилет со светлой сорочкой под ним. Отойдя на всякий случай в сторону, он как-то отчаянно продолжил: — Вот так всегда, мистер Уайт, стоит только заговорить о нечистой силе — и вот вам, пожалуйста! Натэ! Представитель тут же является! Вот это, я понимаю, контора, гениально!

— Мистер Уайт, Джон, да вы же насквозь вымокший, бледный вон какой, ужас! — причитала Мэри, очень недовольно поглядывая на мужа. Она суетливо и даже с грохотом продолжала туда-сюда елозить выдвижными ящичками и дверцами серванта. — А вы, мистер Роут, замолкните, пожалуйста. Вы меня с утра ещё взбесили. Ну, отойдите же, ну... пока я вам... — она со знанием дела продолжала одновременно и пенять на мужа, и всё что-то искать, а также она умудрялась ещё и быстро, жалобно что-то рассказывать, и при этом она ещё успевала обильно хватать и, ужасаясь, шупать Джона за влажную одежду. — Снимайте, снимайте немедленно! Мистер Уайт, снимайте свой учёный мундир, головной убор снимайте, всё снимайте, я просушу.

— С ней лучше не спорить, мистер Уайт. Я, признаться, вообще её опасаюсь, когда ко мне она начинает обращаться в подобном официальном тоне, это, знаете ли, означает то, что данное дело совсем уж худо! Знаете, лучше ей не перечить! — Сэм, сбоку развязно облокотившись о каскад бюро, улыбочиво стоял как бы в сторонке и отдельной линией, с шутками-прибаутками продолжал свои рассказы Джону, сидевшему также на стуле, попавшему вдруг меж двух супружеских огней.

— Скройтесь, мистер Роут, прошу вас! Спрячьтесь где-нибудь за стеллажом, потеряйтесь на время, пожалуйста, пока я вас не... — миссис Роут намеренно и много недоговаривала окончания, отчего обстановка казалась накалённой.

— Вот-вот! Это всё, знаете ли, наглядный результат, так сказать, тесного общения с моим братцем, чёрт бы его побрал. У меня, знаете ли, Джон, имеется брат, Том называется, — мистер Роут вёл себя несколько надменно, как показалось Джону. В его речи присутствовала даже какая-то брезгливость по отношению к этой родственной фигуре. Сэм стоял в отдалении и то ли с юмором, то ли с издёвкой продолжал наблюдать. — Вы не знакомы с ним? Нет? И это замечательно, что вы с ним незнакомы, он, знаете ли, тот ещё фрукт. В общем, Том — мой братец, моряк недотопленный, непоседа со шпилем в одном месте, что с самого детства толкает его на подвиги. У него, знаете, ещё и язык без костей, и ко всему тому же, — Сэм вышагивал и важничал, будто бы он находился за кафедрой. Периодически он в тёплом, смешливом, но начальствующем тоне издали озвучивал действия своей жены, задирая и давая ей некоторые дальнейшие указания: — Правильно, Мэри! Сюртук необходимо над камином повесить! Да, он там скорее просохнет. Мэри, ну что вы на меня-то смотрите, сюртук там, а камин!..

— Мистер Роут, вы сейчас договоритесь!

— Ой, — махнул тот рукой, причмокнул и продолжил: — Так вот, мистер Уайт, тут у нас события, знаете ли, поинтереснее королевских будут. Так вот, у нас тут образовалось некое женское сообщество, представьте себе! В общем, однажды моя благоверная развесила уши, и проникшись чудными рассказами моего брата, она решила погрузить во все те глубины несусветной чуши ещё и всех своих подруг. В итоге и сформировалось это самое сообщество, состоящее исключительно из высшего света Кембриджа. Есть там, конечно, и джентльмены, но в основном это дамы. Собираются все они, значит, тут, у нас, по четвергам, собираются и слушают разные истории о дальних странах, континентах, о мистике и о страшных тайнах, что крайне увлекательно им рассказывает Том. А Мэри у них вроде как председатель всего этого клуба. Да, Мэри? Вы, кстати, котелок Джона тоже, будьте любезны, положите во-он туда, — Сэм снова как-то смешливо заговорил, указывая жене, чтобы та повесила шляпу гостя на тубус.

— Без сопливых разберёмся, — продолжала суетиться Мэри. Она заботливо укрыла Джона пледом, и наскоро, покидая холл, она мельком всё же положила на мужа взгляд с пре-

тензией: — Вы, Сэм, лучше бы бренди гостю предложили, а то ведь так и простыть можно, — конфузясь, каждый раз, когда Джон лишь только собирался приоткрыть рот, его тут же опережала та или иная сторона этой острой семейной пары. Да и всерьёз пытаться отказать от такого тёплого приёма было как-то невежливо, но проявить свой колючий характер, хотя бы единой складкой на лице, Джон был обязан. Мэри вновь внезапно влетела в холл, и встав где-то рядом, где-то над ухом озябшего аспиранта, она молниеносно выпалила в своей огненной манере: — Сэм! Ты меня слышишь вообще? Погоди! Бренди пусть будет немного позднее! Вначале необходимо выпить полпинты горячего «Хани Портер» с щепотью пряных корней! Ты слышишь меня?!

— Я всё слышу, дорогая Мэри, — прогундосил он ей вслед. Вроде как и задумчив был его посыл, но всё же лёгкой тенью какая-то хитрость там присутствовала. Он по-прежнему стоял близ увесистых полок с книгами, и будто бы чего-то выжидая, он неспешно ворошил указательным пальцем свой слегка поседевший висок.

— И что с того, что ты слышишь? Действия будут сегодня какие-нибудь, нет? — Мэри снова зло посмотрела в сторону мужа, на что тот вмиготреагировал и подал ей маленький серебряный поднос, на котором Мэри и поднесла Джону высокий парящий стаканчик с горячим и безумно ароматным медовым портером.

И оказавшись здесь, в самом центре этой семейной арены, где живым, самым что ни на есть пульсирующим нервом искрилась жизнь, где странным узором переплетались узы Гименея и где все непознанные хитрости оставались за ширмой, здесь, в самом жерле вулкана, ему, пока что ещё юному Джону, ему, увы, что-либо понять в этом во всём было просто невозможно. Джон ещё ни разу не был знаком с делами любовными, а уж тем более с делами семейными, отчего он, как и прежде, наблюдая, просто молча сидел и скромно наслаждался всей невероятной теплотой этого хмельного напитка. И так же близко ощущая этот эмоциональный накал, ему тем не менее казалось, что он находится в каком-то очень шатком, очень опасном эпицентре, где-то на самом пике какого-то то ли скандала, то ли грандиозного разлада этих двух сторон. «Ведь они всегда вместе, — размышлял Джон, — они и живут, и работают, и имеют общее книжное дело, всегда вместе. О нет, нет, какова бы ни была та любовь, — Джон сам не понимал, какого ляда вся эта возмущённая тирада активировалась внутри его головы, — всё равно, насколько бы сильна ни была любовь, это невозможно! Наверняка же ведь они годами копят в себе все эти слои взаимных обид, претензий. Да какой там „годами“, целыми поколениями, — не унималась его демагогия внутри головы, — а потом возьми — и в один из подобных деньков этот вулкан любовных накоплений, пройдя точку невозврата, берёт и начинает трубить, начинает чадить взаимной неприязнью. И если так вот подумать, то ведь хуже этих мытарств ничего более пагубного-то и нет. Ведь это сплошь мазохизм, какой-то извечно нервно пружинящий процесс. Хотя кто его знает, когда этот самый вулкан на самом деле таки созрел и что он вот-вот рванёт по-настоящему? Да и рванёт ли он вообще?» — ни на дюйм, ни на единый градус не отклонялся Джон от своих внутренних убеждений, в терновник которых ни в ближайшее время, ни в обозримом будущем он влезать не собирался. В свою внутреннюю жизнь он вообще никого и никогда не впускал, лишь одна прямая линия его мышления — и более никакой сути в нём априори быть не должно.

— Ну как вы, Джон? Начали отогреваться? — где-то промеж строгих мыслей на его плечо неожиданно и приятно легла рука Мэри.

— Д-да! Благодарю вас, миссис Роут, — заикнулся Джон в лёгком ступоре. Может, он слов-то особо и не говорил, но своим нарочитым видом он по-прежнему пытался удерживать на своём лице какие-то свои определённые правила, по крайней мере, ему так казалось, и Мэри умилённо отмечала их, но мудро делала вид, будто бы она ничего не замечает.

— Я вот думаю, — с некоторым излишним позитивом произнёс мистер Роут, стоя недалеко и вытаскивая из заветного шкафчика несколько графинчиков с бренди. И едва ли он произнёс начало мысли, как вмиг разразилась гроза язвительного смеха.

— Ч-что? Чем вы там думаете, мистер Роут? Ну, признайте же этот факт, ну ведь нечем же! — учитывая характер этой семейной пары, подобные чересчур обидные фразы никем особо не воспринимались.

— Я... — Сэм начал было горделиво демонстрировать своё огорчение, — я, знаете ли...

— Ой, да знаем, знаем! — отмахнулась Мэри, мягко шелестя накрахмаленными кружевами на манжетах. Она то заботливо всё поправляла сохнувший над камином сюртук, то, проходя мимо Джона, каждый раз если не подносила что-то вкусненькое, то обязательно добродушно касалась его плеча: — Мистер Уайт, ну право, не обижайтесь, просто я эту историю уже не могу слушать! Сейчас он в монотонных подробностях расскажет вам, что он родился на рассвете под развесистым дубом, а так как дуб есть олицетворение мудрости и так как дуб является неизменным символом ума, — довлела Мэри, коверкая давно знакомую историю на свой эксцентричный лад. Мэри даже как-то смешливо вознесла руки: — И если дуб испокон веков так и несёт в себе это призвание, то сие рождение данного экземпляра человека непосредственно под древом можно смело считать даже неким знамением! Ну, ну почти знамением! Это я с вашего позволения, мистер Роут, простите, я тут вам немного своих бестолковых мыслей понакидала, — Мэри вновь язвительно передёргивала мужа, — а вот кем, как и почему именно дуб стал считаться таковым — я не знаю, но охотно предполагаю, что когда-то давно эта версия была придумана точно такими же бездельниками, что по сей день эта версия считается якобы единственно верной. Дуб — это символ мудрости и всё такое. Тьфу! Мудрость, Джон, она, знаете, в поступках должна быть, а никак не в древесине!

— Да, Мэри, дуб — это сама мудрость! Вы бы, Мэри, хотя бы читали бы книги бы, — прерывисто, но ничуть не скандально отвечал ей Сэм, разливая при этом по стаканам тёмный, вероятно, хорошо выдержанный бренди, — книги, Мэри, которые мы же с вами и реализуем, их почитайте. Кстати, — с невероятно умным видом Сэм вонзил указательный палец в пространство салона, — вот те же самые мудрые книги, Мэри, что стоят тут, у нас, они тоже, знаете ли, стоят на полках из дуба!

— Да я же не спорю с вами! Я что, против, что ли? Конечно нет! Ну, символизирует он по всем приметам, по всем легендам там мудрость — да пожалуйста! Я единственное, что до сих пор не могу понять, — при чём здесь ты? Мудрость и Сэм, прям комедия какая-то выходит, — мистер Роут вновь едва ли засобиравшись ей что-то ответить, как жена снова вставила: — Ты гостя сегодня собираешься угощать или ты снова думать будешь? Тоже мне, мудрец римский!

— Конечно, налью! — ничуть не упраздняя своей изначальной игривости, он каким-то фигурным жестом направил всех к чайному столу. — Мистер Уайт, прошу вас, располагайтесь. Вижу, вы уже немного согрелись, но тем не менее на всякий случай я вам от простуды сейчас ещё специй остреньких брошу! Надеюсь, вы не против?

Небольшой чайный столик с мелкой рябой текстурой бука на поверхности имел форму вполне правильного эллипса, как чуть позже для себя отметил мистер Уайт. Это тёплое, уютное местечко близ камина и витражного, слегка зашторенного окна с видом на реку с мостиком в фонарях, а также на старенькую вымощенную площадь с высокой часовней, это местечко за столом было рассчитано минимум на шесть человек. Обилие гостей здесь, в впоследствии названном «Салоне Светского Четверга», иногда даже превышало все ожидания, и порой это местечко вмещало в свои объятия даже более дюжины персон за раз. Собирался исключительно высший свет, и происходило это, да, только по четвергам, вечером, и только в неформальной обстановке, в уютном холле книжной лавки, которая регулярно принимала в свои объятия самых красивых дам этого города. Холл с камином и чайным столиком всегда собирал всех воедино, и также в своей атмосфере он щедро множил и преданно хранил энергию и грацию

каждого участника данного клуба. Брат Сэма Том, он же главный виновник того тотального трепета, что являлся каждому сердцу в виде некой глубоко эмоциональной феерии, у некоторых дам он вызывал и вовсе даже зависимость. По официальной версии, Том слыл бывалым моряком с множеством внештатных и часто мистических ситуаций, а по факту он являлся весьма сомнительной личностью. Но абсолютно все подвижки супротив его якобы неблагоприятности, любые слухи и все нелепые обвинения могли попросту закончиться крупным семейным или даже общественным скандалом, ведь всё дело было в том, что основная представительная элита «Салона Светского Четверга», все они являлись жёнами и близкими людьми самых высоких чиновников, причём не только этого города. Так и выходило, что какой-нибудь там констебль, едва ли затеяв за семейным ужином некий нравоучительный разговор на тему весьма сомнительных лиц, а в частности о мистере Роуте, с кем его близкие имеют тесное общение, как тут же в ответ на него нисходит лавина женского негодования. А хуже сего явления может быть только война, а война непосредственно внутри семейных коалиций, она не всегда, во-первых, выгодна, и во-вторых, не всегда она имеет конечный успех для главы семейства. Некоторые мужи, в частности представители даже весьма строгих высот, постов и нравов во все времена, как правило, все они имели некую фрагментарную слабость в характере, относящуюся исключительно к личностному преклонению их существа пред капризами их утончённых муз. Мистер Том Роут, в отличие от своего родного брата Сэма Роута, был весьма симпатичным и рослым молодым мужчиной, но главный его талант заключался в ведении разговоров. Стоило кому-либо лишь на минутку попасть в поле его влияния, как то рассказы или просто беседы, как тут же человек терял бдительность и попросту растворялся в его историях. А истории его были настолько захватывающи и правдивы, что это самое светское общество сидело откровенно разинув рты, часто даже забывая о ходе времени. А сформировалось это сообщество совершенно случайно, всё как-то само собой сложилось. Том часто и помногу находился в книжной лавке у брата Сэма и его супруги Мэри, так как имел он сбоку того же здания с массивными арками, ведущими вглубь двора, небольшой ломбард. И так уж выходило, что снаружи эти два заведения между собой никак не граничили, они даже совместно не были на виду, но при этом книжная лавка и ломбард имели внутреннее тайное сообщение. Конечно, в промежутке жизни между детством и ломбардом Том немало походил по морям, но из всего того опыта он ровным счётом ничего примечательного там заприметить ну никак не мог, а особенно того, чем спустя годы можно было удивлять и без того избалованную публику.

А тем временем Сэм всё что-то двигал, открывал, закрывал всё какие-то дверцы, шкапулки, наливал, подносил и увлечённо при этом болтал с Джоном обо всём подряд, пока Мэри, стоя у стеллажа с недешёвыми и редкими изданиями, желанно изыскалась с очередным успешно зашедшим клиентом. А Сэм всё говорил и говорил, не позволяя уже почти совсем отогревшемуся и изрядно захмелевшему аспиранту концентрироваться и заострять своё внимание на чём-то одном.

— Вот вы говорите, Джон, что ничего подобного вы в своей жизни никогда не пробовали. А я вам отвечу — вы правы, вы абсолютно верны, ведь все эти специи, которые вас так хорошенько поразили и отогрели, их вы, поверьте, их вы днём с огнём не сыщете. Их, знаете, однажды из дальней экспедиции привёз мой брат Том. Вы только представьте себе, он уже целых два раза был в Ост-Индии. Ой, чего он там только не видывал, чего он нам только оттуда не привозил, — в образе какого-то щедрого болтливого купца Сэм, даже можно смело сказать, порхал возле извечно насупленного Джона, который, в свою очередь, ещё будучи первокурсником, сразу уцепился и впоследствии стал даже копировать тот поверхностный образ своего учёного кумира, воспринимая всю его нелюдимость как изначально правильный и бесспорно ему подходящий стиль. А Сэм продолжал изворачиваться, он то садился, что-то рассказывая, глядя Джону прямо в глаза, то тут же срывался с места и задумчиво подвисал в образе романтика, устремившись на мгновение куда-то вдаль или на какой-нибудь предмет интерьера, коих

в их холле было представлено огромное множество. Одни только картины чего стоили, ведь некоторые из них, невольно встречая посетителей, в основном это были портреты известных лиц, они, встречая гостей, восхищали их с самого порога. А пройдя несколько вглубь, там, помимо прочих картин, в точности передающих сюжет многих исторических сражений, там также можно было заприметить стоящих в натуральную величину тевтонских рыцарей, точнее их металлические доспехи. Весь этот интерьер совместно с видом из окна и тлеющими поленьями в неторопливом камине, всё это тепло склоняло буквально каждого исключительно к плавным уютным настроениям с неизбежными размышлениями в комфортном кругу среди точно таких же людей, что также сидят за этим чайным столом. Всё было до такой степени талантливо продумано до мелочей, что, сидя в этом словно бы волшебном месте, никому и ни о чём не хотелось думать, разве что о радушии хозяев этого оазиса. Сэм продолжал улыбаться и говорить: — А простуда ваша, мистер Уайт, — он, словно бы добрый волшебник, замер с чашкой в руках, — простуда, мистер Уайт, она у вас точно уже была, но при помощи этого чая, специй, портера и бренди она, испугавшись, поверьте, уже убежала прочь!

— Да я как-то это, — замешкался Джон, начавший уже окончательно согреться под воздействием регулярного хозяйского чая и бренди, — я-то это так-то не пью. Ну, я, в смысле, мне это толком-то не то что не доводилось, просто дел много. Ну, — елозил Джон. В нём временами то как-то оживал, то вновь умолкал тот самый юноша, что категорически опасался внешней жизни, — ну, так, иногда эль выпиваем, а так-то я всё больше в учёбе, ну вы знаете, в науке всё.

— Знаете... — мистер Роут, понизив тон, как-то внезапно серьёзно и вдумчиво остановился и замер вполоборота с наполненным стаканом в руках. Он вперился на мгновение в сюжет картины «Падение Константинополя», а затем продолжил: — Знаете, Джон, на этом свете, вероятно, они таковые и есть, эти самые истины да правила. Вот вы говорите, что всё своё основное время вы кладёте на плаху обучения, причём учёба ваша вполне конкретного и обозначенного толка, когда, наверное, даже любая цель пребывания человека здесь, на этом свете, заведомо обусловлена лишь одной, лишь единой истиной, а имя этой истины — учёба. И каждое человеческое проявление здесь, то есть жизнь от самого рождения и до надгробной плиты, она ведь абсолютно каждому всем и всегда велит учиться, и раз за разом человеку всегда, день ото дня приходится делать что-то впервые: жить, бить, любить...

— Да, да, конечно! — вроде бы мягко, но всё же как-то язвительно, по-семейному вернулась в общую беседу миссис Роут. — Выпивать, я полагаю, это действие также находится в этом твоём сакральном списке!

— Именно, Мэри! Именно! Учиться нужно и жить, и умирать! — Сэм театрально, словно бы на подмостках, загорелся и тут же поник в трауре, затем он вновь скорее чем за секунду воспрял, повернулся в восхищении, хлопнул по плечу звонкого рыцаря со шпагой, что стоял подле, и торжествуя, Сэм протянул всем заранее уже налитые напитки. — Ну и выпивать, конечно, в том же самом списке! Давайте выпьем! — Мэри украдкой блеснула взглядом и продолжила свою тематическую оппозицию:

— Ну чего ты несёшь? При чём тут учиться, пить и умирать? А? А вы пейте, пейте, мистер Уайт! Вам надо, вам необходимо! — от её уговоров, от её тёплого взгляда и адресной улыбки Джон никак не мог удержаться, и тут же он беспрекословно последовал всем её указаниям. — Пейте, закусывайте, чай пейте, мёд вон кушайте, крекер, орешки, вам надо, мистер Уайт!

— Джон, ваше здоровье! — Сэм за компанию в очередной раз пригубил и продолжил, поймав на себе, как показалось Джону, взгляд тревожного семейного вулкана. — Учиться... — многозначительно он сgrimасничал и причмокнул. — Я сейчас вам объясню. Понимаете, само слово «учиться», оно, как правило, ну так уж повелось, оно у всех и каждого вызывает, ну, скажем, весьма скучные ассоциации. А на самом деле учиться необходимо, и любить, и жить, и умирать. Не смотрите на меня так, знаете, умирать тоже надо уметь! Я вот тоже сегодня,

знаете ли, учусь. И учусь я совершенно новому искусству! — на лице Мэри и также Джона показался немой вопрос. — А чего вы так замерли-то? Сегодня я постигаю искусство выпивать едва ли за полдень!

— Тьфу ты! Шут вы гороховый! — Мэри в порыве недовольства привстала из-за стола и надменно удалилась. Складывалось такое впечатление, опять же это был взгляд со стороны, и это был взгляд Джона, ему казалось, что не ровён час — и лодка семейного счастья Роут распрощается с терпеливой гладью и вот-вот налетит на рифы.

— Мистер Уайт, прошу вас, не обращайтесь внимания на наши семейные колкости, а точнее даже будет сказать, на наши партнёрские и рабочие недовольства. Давайте выпьем! — Сэм всё чаще и чаще подливал малоопытному в этих делах Джону. — Понимаете, в чём дело, мой брат Том, от которого так млеют все дамы и подруги моей Мэри, он владеет небольшим ломбардом, и некоторые уж действительно ценные с культурной и творческой точки зрения, они иногда проходят через мои руки. На днях, буквально намедни, — Сэм как-то жалостно и специально громче обычного принялся рассказывать историю, — в общем, дело было так. Честно вам сказать, Джон, я увидел произведение искусства. Вы даже представить себе не можете, какой красоты, какой строгости и какой символичности был тот предмет. Это были настоящие пружинные настольные, а точные каминные часы. И в чём тут вся соль раздора? Одна из подруг Мэри, да, конечно, она является полноценным членом нашего салона, она захотела их себе, эти часы. Просто так, мол, как игрушку, как каприз праздной покупки, а часы, извините, это вещь серьёзная, а тем более такие. Вот мы и повздорили.

Сэм всё подливал, жестикулировал и эмоционально топтался на месте. Он, импульсивно рассказывая подпитому аспиранту все тонкости этой истории, отявленно опирался на тему научной точности, важности, вызывая тем самым у Джона какую-то солидарность. Джону уже не терпелось увидеть, из-за чего, собственно, весь сыр бор-то и разгорелся, но мистер Роут будто бы специально оттягивал этот момент. Они снова присели, выпили, а в воздухе всё сильнее продолжала накаляться атмосфера одновременно и семейного раздора, Мэри, маяча меж книжных полок, заметно реагировала на речи мужа, и также возрастал азарт интереса Джона к этим самым каминным часам. Часы — вещь, конечно, недешёвая, но как позже выяснилось, очень красивая. В какой-то момент на заднем фоне расслабленного сознания Джона что-то брякнуло, в комнате был уже явно замечен некий порыв негодования, Мэри едва ли решилась активировать свой эмоциональный гейзер, как Сэм встал, подошёл к шкафчику и, наконец, вынул это яблоко раздора. Он поставил часы на стэйшн. Повисла нелепая тишина, в которой Джон, заранее уже напичканный трепетом, наконец, увидел их и замер, словно поражённый. На прямоугольной мраморной подставке резной громадой с внутренним серпантинном находилась как бы скалистая основа из чёрного дерева, из кратера которой, с самого её низа, тянулась ввысь древняя крепость, в центре которой и был сам круг римского циферблата. А вокруг той крепости, как ей и полагается, рос и вился виноград, изображённый так же тонко и реалистично, как и множество оконцев, что выглядывали из филигранной каменной кладки. Крепость была очень таинственна и масштабна, и весь её магизм заключался в тянущихся ввысь мелких и крупных башенках, сплочённых воедино. И весь этот древний амфир, восходящий из резной воронки чёрного дерева, он словно бы из подземелья произрастал чётким контрастом, выполненный из скандинавской белой сосны с прямыми светло-коричневыми прожилками, среди которых гармонично и вписался белый циферблат с двумя чёрными резными стрелками.

— Простите, простите, пожалуйста, — сызнова начал говорить Джон с заметно пересохшим горлом. — Мистер Роут, позвольте узнать, мне это очень, мне это чрезвычайно важно. Ответьте, пожалуйста, а я, я достоин, по вашему мнению, данного предмета искусства? Подождите, это не всё, — он словно бы под дурманом был, одержим, он был потрясён до растерянности. И не дождавшись ответа мистера Роута, хоть и минуло всего лишь несколько секунд, Джон в том же тумане обратился к миссис Роут: — Мэри, миссис Роут, простите меня, пожа-

луйста. Вы не обидитесь, не обозлитесь на меня, если я дам совершенно другую цену и ваша подруга не сможет занять себе эти каминные часы?

— О нет, нет, что вы, — она настолько плавно это произнесла, что Джон окончательно покраснел от предвкушения восторга, — вы, мистер Уайт, вы для нас всегда желанный гость.

Сэм же продолжал молча стоять рядом, с хитрецей поглядывая на эту сцену. И буквально через минуту мистер Уайт дошёл до точки кипения, и его понесло:

— Мистер Роут, — Джон смело достал свой кошелек, — вот эта цена будет удовлетворительна? — Сэм демонстративно выждал ещё несколько секунд, зная, что это не предел, — нет, мистер Роут! Вот, вот эта цена будет достаточной? — Джон добавил ещё одну золотую монету.

— Вполне, мистер Уайт!

Сэм на этот раз был невероятно краток, но был он эмоционально звучен. Разделяя восторг Джона, он тем временем украдкой вновь налил два стакана бренди и продолжил плавно тесниться рядом, пока эксцентричный Джон вместе с деньгами оставлял не столь уже важный ему список литературы. Джон в порыве радости и какой-то совершенно сумасбродной благодарности схватил стакан и разом осушил его до дна, чем и вызвал удивление на лицах хозяев. И на такой вот счастливой ноте он искренне попрощался и, окрылённый, отправился домой, естественно не забыв оставить свой адрес для доставки. Его вымокшая ещё с утра одежда теперь была суха и приятна, да и вообще, после такого удачного визита всё вокруг виделось ему совершенным и цветным.

— И что это было? — Мэри тихонько подошла со спины к мужу, который неприметно стоял у окна и, сливаясь с внезапной тишиной, провожал взглядом отдаляющийся восторженный шаг Джона.

— Дорогая, сделай, пожалуйста, мне чаю, — Сэм повернулся, и вид его был уж очень усталый, — фуф, не могу! Этот чёртов алкоголь меня когда-нибудь доконает.

— Зачем он нам? Ведь не в часах же дело?

— Да, конечно, не в часах!

— А в чём тогда хитрость? Что ты там опять придумал, объясни?

— Странные эти англичане, живут вроде на острове, есть флот, а стало быть, хорошо у них развита торговля, но странным образом в их существе откуда-то берётся недюжая чопорность, какой-то удивительно нерасторопный консерватизм появляется. И знаешь, пока этот консерватизм будет в них жить, нам можно будет легко применять свои торговые приёмы, чуждые им. Ну да, правда, пить с ними приходится, а особенно с некоторыми, это да. А студент этот, аспирант Джон, он, знаешь, мне тут намеренно рассказали одни не особо бедные студенты Тринити-колледжа, тоже не по трезвому делу, в общем, рассказали, что этот самый Джон является неким негласным куратором одного профессора, а он, в свою очередь, профессор этот, он личность весьма интересная, а главное, перспективная.

— Ну, ты опять? Ты же прекрасно знаешь, проходили уже, что среди всей этой элиты, у которой вместо мозгов одни формулы да законодательства в голове, что среди них редко встретится какой-нибудь мот, и также среди этой всей образованной вереницы, знаешь, редко бывают те, кто способен думать земными потребностями и уж тем более страстями. Они-то, конечно, имеются, и всегда они, знаешь, будут в достатке, но опять же не каждый из них является представителем нужной нам финансовой и статусной прослойки.

— Мэри, дорогая, во-первых, ну вот чуть шире раздвинь свою логическую цепь, а во-вторых, будь добра, сделай мне ещё чаю. Следи за мыслью, — Сэм и Мэри с уходом клиента словно бы перевоплотились в людей совершенно иного толка, говорили они теперь друг с другом мягко, полюбовно и абсолютно не приправляя свой диалог ни колкостями, ни привычными для большинства изувёрствами. Они походили на изменчивый по форме тандем хитрых профессионалов. — Вот смотри, Мэри, сколько мы уже в Кембридже? Года три? Всё всегда

не может быть в идеале, это ты и сама знаешь. Любая, даже самая совершенная структура однажды может пойти ко дну.

— И откуда ты такой умный свалился на мою голову? — Мэри исключительно с любовью и долей гордости ласково присела рядом с мужем и, кокетливо играючись, стала касаться своим тоненьким пальцем его щеки, уха и округлого лица.

— Ммм, не перебивай!

— У-угу! — словно бы домашняя кошечка, она на всё реагировала одним мягким и нежным тоном.

— Во-первых, сколько верёвочке не виться, а повесить всех всё равно можно. Это я к тому, что насколько идеальна ни была бы наша схема с ломбардом, всё равно не стоит злоупотреблять фортуной. Да, весь наш товар проходит через шлифовку, и там нигде не остаётся ни одной гравировки, также товар всюду получает какие-то да изменения, и в цвете, и в форме, и даже то, что весь краденый товар не местный, всё равно рано или поздно должен настать предел. Я не говорю, что у нас в деле что-то как-то не так, нет, просто мне кажется, что ты не будешь против, если мы в скором времени таки переедем в Лондон?

— В Лондон?

— Думаю, пора нам расширяться. Там нам будет и выгодней, и безопасней заниматься делом, так как у нас будет существовать уже несколько филиалов ломбарда в разных крупных городах.

— А во-вторых?

— А во-вторых, моя дорогая, чем мне, собственно, и приглянулся-то этот недотёпа мистер Уайт. Он весьма близок с профессором, мистером Исааком Ньютоном, а он, в свою очередь, как учёный, состоит в членстве Королевского сообщества. Да, сам он предельно нелюдим, но в английском Королевском сообществе не все такие. И главное, этот самый Джон, он рано или поздно, так или иначе однозначно будет иметь контакты среди того столичного бомонда, пусть и учёного. Как ни крути, а Лондон есть Лондон, да и к тому же у всего того учёного окружения наверняка же имеются светские жёны, которым также будет интересен наш эксклюзивный товар. Знаешь, а насчёт учёных, там, среди них, это я тебе в качестве примера, там есть один самый незанудный учёный, его знают все — это Роберт Гук. Да, да, тот самый, один из архитекторов современного Лондона, а теперь он ещё является и председателем Королевского того общества, а это же ведь совершенно другой уровень!

Мэри невероятно воодушевилась такой идеей, её восторг уже заранее искрился золотом и также немного граничил со страхом, но до новых вершин оставалось ещё порядком времени. А пока глаза её блестели, и она порхала по холлу, готовясь к приёму вечерних гостей.

— Сэм, знаешь, вот единственное, чего жаль, так это часы. Продали, и теперь время не в зале, не на глазах, — суета её резко возросла, когда она заглянула в подсобку и узнала, который час: — Ой, ой, ё-ёй! Этот зимний английский день — это какое-то мгновение! Так! Мистер Роут! Вы или помогайте, или...

— Я в уголок присяду лучше. А часы, знаешь ли, это был некий тест на преданность и глубину этого аспиранта.

— Ты хоть что-нибудь делаешь в этой жизни просто так? По крайней мере, без двойного, тройного умысла, без подтекста? А? — ёрничала Мэри. И судя по её тону, становилось ясно, что эти самые вопросы давно уж имели риторический характер. — Ой, да кому я это говорю?

— Вот ты представь, дорогая, — Сэм устало и несколько вальяжно уселся в кресло и как-то туманно молвил: — Представь, ты берёшь и готовишь мне вкуснейшую паэлью, причём со всевозможными моллюсками, мидиями там, и в подарок мне ещё бутылку хереса даёшь. И да, случается это всё не в самом начале нашего с тобой знакомства, а скажем, ну где-нибудь тут, около нашего времени.

— А мне и представлять не нужно! — округлив глаза, жена остановилась посреди холла. — Я и так знаю, что твой организм не воспринимает гадов да моллюсков, а херес, так он наверняка был бы вылит мне на голову. Ты же у меня горячий бываешь! А к чему, собственно, ты это клонишь? У нас с меню что-то не так?

— Ты вот прибираешься, так заодно и с головы своей пыль стряхни! Данным примером, пусть и абсурдным, а точнее на фоне него, я тебе сейчас проведу краткую аналогию.

— Скажи мне лучше, когда мы в Лондон уже поедem? — снова игриво она состряпала дуру. Сэм только что-то хотел ей ответить серьёзное, мол, мы же ведь только как полчаса назад начали разрабатывать этот план переезда, как тут же он передумал и замолчал. — Сэм, вот у меня вопрос есть, и он уж давно мучает меня. Скажи, вот ты же сам когда-то здесь, в Кембридже, учился, а где-то в других городах, ну, например, в Оксфорде, там тоже все такие умные, такие же все с анализами в голове. Вот скажи, почему нельзя быть проще, почему ну хотя бы в некоторых моментах не быть проще и легче?

— Всё? — терпеливо и привычно выждал Сэм. — Я продолжу. Аналогия, значит, эта вымышленная, она точь-в-точь как и ситуация мистера Уайта. Сейчас поясню. Принцип подобных часов не так давно явил миру именно мистер Гук, но это было бы не так важно, если бы мистер Ньютон, подле которого наш студент Джон преданно ошиивается, они, эти два учёных, они не то чтобы враги, назовём это явление просто сильным отсутствием научной взаимности. Мистеру Джону я несколько раз сказал, что данные часы имеют пружинный механизм, но он всё равно решил таким образом сделать подарок своему профессору. А пружинный механизм, напомню, внедрил именно сэр Роберт Гук.

— А если Ньютон узнает? Он же ведь наверняка погонит от себя эдакого заботливого аспиранта?

— Может, оно и так, но рано или поздно он и сам где-нибудь в другом месте проколется, раз нутро его имеет такую непоколебимую склонность к подобному. Джон — человек ненаучной стези, да и преданность у него — сама видишь какая, так что лучше мы будем использовать этого проводника, нежели кого-то спонтанного. А насчёт погонит, знаешь, у меня давно уж есть одна выверенная теория: чем умнее и замороженней человек, тем меньше в нём логики, по крайней мере, логики той, что для всех остальных является нормой. А его мышление, его поступки, в свою очередь, все окружающие его простые люди часто воспринимают как бред, как галиматью, хотя спустя какой-то отрезок времени его некогда сумасшедшие алгоритмы, они свободно живут уже в обществе в полном обиходе. Но в суете подножных дел ведь никто и не вспомнит, никто даже и не догадается, что он существует, этот извечный принцип малого и большого колеса жизни.

Они не успели договорить, но понять они друг друга вполне сумели. Пришли клиенты и обернули супругов Роут в привычный их режим, а вскоре должны были ещё прийти и гости, а точнее дамы, на краткий, небольшой будничный вечер, чтобы провести, так сказать, в уюте ещё один зимний вечер. Ещё не темнело, но ощущение наступающей ночи уже витало призраком где-то меж хмурых деревьев и домов. Там же и шёл Джон. Невероятно воодушевлённый, он думал обо всём разом, он улыбался, и ему было настолько хорошо, что он даже ни разу не вспомнил имя Исаака Ньютона.

Дорога к дому для мистера Ньютона была равномерной, и в основном она была погружена в сон. Не то чтобы сэр Ньютон, изначально сев в карету, тут же пал в пропасть без сновидений, которые, кстати, и в обычные дни к нему-то особо и не заглядывали, он просто вошёл в своё излюбленное состояние полудрёмы, и съёжившись, он то и дело лениво всё перемешал краткую текущую реальность со своей внутренней пустотой, в которой тлеющими волнами иногда всё же вновь оживали стайки многих незабвенных идей. Вид из окна, как ему и полагается, периодически менял свои формы и очертания, зимний ландшафт по-прежнему был дремуч и уныл, что невозможно было сказать об извечно весёлых попутчиках. То и дело рассыпались

какие-то пошлые шутки, пестрели нелепые рассказы да колебались какие-то вымышленные истории. Под шум дороги и морось дня, что грузно скользил вдоль чернеющих полей с рыжей, пожухлой листвой у кромки леса, также шли и малость озябшие размышления.

— Вот интересно, — как-то неторопливо, и даже можно сказать, лениво сэр Ньютон пялился в оконце, — ведь все, ведь абсолютно же все тайны мира и все загадки человечества, какими сложными бы они ни были, всё равно рано или поздно все они станут явными. Их ведь все разрешают люди, и даже самые путанные тайны рано или поздно постигаются человеком, это словно бы какая-то игра Отца-Создателя. И главным незримым правилом той игры являются сроки, циклы да безбрежные реки времени. И если взять, остановиться на мгновение и окинуть взглядом мир, то на ум придёт лишь одна непоколебимая мысль: что всё, что нас окружает, — оно всегда было с нами. Было, есть и, вероятно, будет. Получается, человек десятки, сотни, тысячи лет так же и жил с этим функциональным набором природы, жил, пользовался из поколения в поколение, называя всё познанное в быту данностью, а непознанный набор — проклятьем. И вот однажды, вплотную подойдя к разгадке, человек так или иначе берёт и расшифровывает какой-нибудь очередной узел загадки Земли или Вселенной, сжимая тем самым общий ореол непознанной мистики.

Всё какой-то внутренний непрерывный диалог занимал Ньютона. Мыслей было много, и разброс тем для тех бесед был велик и нескончаем, хотя снаружи, едва ли взглянув на него со стороны, можно было наблюдать лишь то, как его мало подвижные черты лица, обозревая даль, тоскливо коротают часы, минуты той английской свинцовой зимы. В салоне дилижанса посменно было то тихо, то тошнотворно липко и громко от обилия земных разговоров и беспрестанных желаний всегда чем-либо закусить. Сэр Исаак Ньютон никогда и ни в каких беседах не участвовал, а уж тем более в беседах бесполезного толка. Разумеется, время от времени некоторые соседствующие пытались вовлечь его в свою компанию, но для них, как им показалось, он был слишком уж туг, и условно сочтя его за бревно, что не в силах вымолвить даже слово, вскоре они отстали от него. Дама, что сидела напротив, была крайне скромна и застенчива, и те два активных пассажира к ней пока особо не лезли, лишь временами как-то искоса всё же примерялись к её женскому началу. Те двое сдружились, тот, что был в военном поношенном мундире, и какой-то мелкий рыжеватый чиновник, им обоим непременно хотелось казаться в глазах окружения, что каждый из них — птица ой какого высокого полёта. Они с умными, регулярно жующими лицами всё создавали видимость знания дела и попеременно вели то военные, то джентльменские разговоры, не исключая, конечно, из того перечня какие-то базарные темы с элементами хряковых приступов смеха. Их взаимная бравада, то и дело обдавая карету совместным фонтаном шуток и крошек, также регулярно наполняла это малое пространство стойким перегаром. Изредка они с ужасом и каким-то тихим диким юмором всё же отмечали, что их якобы учёный сосед, что он практически не шевелится, отчего их единственно правый вердикт звучал примерно так, что он обязательно или слабоумный, или какой-то там больной. А после снова наступал час трапезы с, как им казалось, чуть ли не светским диалогом. Ньютон ещё в детстве овладел этой чудной способностью абстрагироваться от назойливых лиц с их извечно бурлящим объёмом бесполезности. И с тех пор в его замкнутом воображении как-то сами по себе с каждым разом всё чётче и глубже начинали прорисовываться какие-то свои, понятные только лишь маленькому Исааку новые миры и схемы интересных взглядов на многие извечные вопросы, кои хоть раз да возникали в голове каждого живущего на планете.

— Да, безусловно, время, как и все планеты, движется по кругу, тут Кеплер, его домыслы, конечно, он был прав, что движутся они не по кругу, а по эллипсу, — в голове Ньютона вот уже несколько лет кряду совершенно без всяких стеснений, в любое уместное али, напротив, неурочное время всплывала построенная им модель планетарного хода, в которой он также без стеснений мог пребывать сутками в качестве мыслителя и наблюдателя за воображаемым

движением Солнечной системы, — да, именно по эллипсу. Вся небесная механика движется по эллипсу, как и та комета. Эх, события, сказал бы мистер Барроу, мол, это только здесь, только с земной стороны они есть небесные объекты, а с другой, обширной стороны это есть волны и это есть жизнь в различных циклах планетарного времени. Да, хоть со многими его идеями я и не был согласен, но на мой сегодняшний взгляд на движение небесных объектов он наверняка бы сказал — гениально! Добрый, талантливый Барроу. Да, он бы сейчас обязательно провёл бы свой анализ, он высчитал бы даже, в чём причина всех былых и грядущих бед. Он же ведь, как и Кеплер, связывал события с расчётами и числами, он же ведь считал, что все события схожи по своей форме, что все они рано или поздно возвращаются на круги своя, пусть и немного в другом облики. Наш мир невероятно загадочен, о, сколько же в нём тайн! А сколько тайн и вовсе не прикрытых, сколько же их лежит на поверхности? Ведь многие из них на самом деле таятся совсем уж в чём-то простом и обыкновенном. Но вот возникает вопрос неискоренимый: до каких пределов он всё-таки обозначен, этот наш мир? Он же ведь одновременно и реален, и воображаем, и движем, и осязаем. Он и дует, и летит всё куда-то, он горит и стрекочет, бьёт, слонится и рассыпается в труху, а снова рождается — и всё это лишь результат воздействия четырёх стихий и воли Творца. Вот он, наш мир, — он прямо под ногами, он буквально во всём, но отчего-то никто, никто этого не желает замечать. А почему так? Почему люди не отмечают хотя бы даже свой ежедневный миг, не говоря уже обо всех шажочках мира, почему он им неинтересен, отчего же никто не отмечает сам процесс жизни как нечто неизведанное? Неужто только мне одному важны все эти мелочи нашего мира, неужто я один регулярно задаюсь этим вопросом: почему именно так, а не иначе? Мне снова не хочется жить. Я не понимаю эту жизнь. Я говорю с миром, с миром людей, а он меня не понимает, он где-то вдали от меня, он где-то очень далёк и непонятен. Эх, разгадать бы этот мир. А ведь когда-то я писал стихи. Да, стихи...

Не напрягай глаза.
 Не узришь ты даже ветер.
 Лишь смекнёшь, как по капелькам вчера
 Тихонько превращается в пепел.

— Слышь! Эй, дружище, — торопливо и как-то небрежно пробасил прямо на ухо Нью-тону сосед в потёртом военном мундире, — я тебе говорю! Слышь! Эй, философ! — принялся он теребить его руку.

— Он не философ. Сэр Ньютон — профессор математики! — тактично, вежливо, даже как-то горделиво вставил новый худошавый пассажир, сидевший вместо недавно сошедшего чиновника.

— Ну, я и говорю! Эй, профессор! — продолжал он его теребить, при этом военный всё это время суетливо не переставал поглядывать в окно.

Карета стояла на какой-то мелкой станции, где, как правило, кучера поправляли лошадей, давали им немного овса или вовсе сменяли на других, а пассажиры тем временем имели непродолжительную возможность выйти из салона и немножко размяться и оправиться перед большой дорогой. Военный, на вид он был лет сорока, имел редкие усы врасстырку и мелкие глазёнки, что всю дорогу то и дело беспрестанно бегали повсюду. Диапазон его подданных шуток интенсивно колебался где-то между остроумной пошлостью, как это ему казалось, и гневливыми выкриками в адрес кучера, который якобы специально едет и собирает все ухабы по пути. В обычной жизни, когда всё идёт своим чередом, глаза этого военного пассажира особо никогда не блестели, до тех пор пока на горизонте случайным образом не явится какая-нибудь выгода или же пока не затрубит призыв к бою, пусть зачастую и пьяно-бытового характера, что, как правило, частенько вовлекал в свои объятия всех неуёмных и отставных. Но был ещё один

важный пункт у штаб-сержанта, ввиду которого не менее активно происходило возгорание его браварды, и конечно же, таковой причиной являлся женский пол.

— Слышь, студент, — постукивал он слегка его тыльным кулаком по тощей ноге, — слышь, а профессор твой чего, немой, что ли? Или, это, того?

— Нет. Не знаю. Извините, сэр, — отрывисто, почти с истерикой насупил студент.

— Да погоди ты, погоди, слышь, — военный, озираясь по сторонам, всё следил за тем, чтобы четвёртый их попутчик, а точнее, скромная и застенчивая попутчица внезапно не вернулась, — слышь, мне, короче, надо с твоим профессором местами поменяться. Чего ты смотришь на меня, как палач на отсутствие приговора? Ну, чтоб сесть в аккурат напротив красавицы этой, ну, соображаешь, понимаешь? — шёпотом басил он.

— Он не мой преподаватель. У меня несколько иной факультет. Я просто знаю, что он является профессором Тринити-колледжа. И всё.

— Слышь, ты, факультет долговязый! Не умничай! Давай ты мне подмогнёшь, а я тебе взамен мудрости мальчика подброшу. Давай? Короче, она придёт скоро, вон кучер уже зад свой мостит на ящик. Толкни там философа своего, пусть пересядет, а я её тут за пару часов обработаю, а там, глядишь, к вечеру до города доберёмся, а там и ночлег в таверне. Она докудыва едет? До конечной? Знаешь? Нет?

— Нет, не знаю. Он, это, он не философ... — в очередной раз, глядя в сторону вояки, студент, наконец, понял, что объяснять здесь что-либо попросту бесполезно. — Это вряд ли выйдет. Мистер, давайте вы на моё место присаживайтесь. А она придёт и сядет на ваше, и вы как раз окажетесь там, где надо, напротив неё, — он сменил научную речь на забытый школьный сленг и включил смекалку, наивно полагая, что тем самым заслужит какое-то поощрение.

Студент вышел на улицу, и стоя на обеденном ветру, он в очередной раз лениво потянулся, воображая свой скорый приезд, вкусный домашний ужин и уютное тепло родительского дома. На маленьком уездном пятачке с пятью-шестью домами работала кузница, уличная едальня, также имелась вытянутая роща с небольшим загонem подле для выгула молодых жеребят. Зимние просторы волнистого мелкосопочника были наполнены умеренным вольным английским ветром, пейзаж был сер и влажен, хоть солнечные лучи изредка и выглядывали из-за плотного обилия туч. Происки ветра, игриво кружась, то и дело доносили до проезжих ноздрей различные вкусные запахи теста, мяса, идущие из стоящих немного в стороне кухонных построек. Студент голодно облизнулся, ещё раз потянулся и несколько раскованно подошёл к кучеру, который сидел и, уткнувшись, наскоро там что-то ел.

— Любезный, а к вечеру-то до города доберёмся?

— Затемно должны поспеть, — добродушный и неотёсанный Пол сурово, а впрочем, как и всегда, ответил пацану. Пол подобных студентов неприязненно журил, мол, ни ума, ни умений, а прыти хоть отбавляй, — должны доехать. А иначе тем, кто ещё дальше едет, им придётся туго с ночлегом. А я обещал. Я поручился, — уже едва ли слышно бормотал он, активно шевеля щетиной в тряпичном кулке с едой. А ветер с каждым новым порывом услужливо продолжал будоражить студента и всё больше погружать его в мечты. Он стоял у кареты и вдумчиво, с улыбкой предвкушал близкую реализацию всех своих ранее намеченных планов, первоначально связанных, естественно же, с гульбой, девицами и обязательной болтовнёй со старыми друзьями.

— Садитесь уже, отправляемся, — проворчал Пол, усаживаясь поудобнее.

Он было только хотел возмутиться, мол, экипаж ещё не в полном сборе, лишь нервно поднял руку, как тут же жест его бесполезно завис на ветру. К карете из-за угла направлялась девушка, а может быть, даже и женщина, на вид ей было лет двадцать. Она, как и мистер Ньютон, за всю дорогу ровным счётом не обронила ни слова. С виду она не имела какой-либо принадлежности к высокообразованным прослойкам, но также и низости в ней не наблюдалось. Она иногда кротко поглядывала в окно, изредка обращала свой взор в салон, но по сути, черт

её лица, каких-либо тонкостей под полями старенькой шляпки и под краями тёмно-зелёного палантина было не разглядеть. Одним словом, совсем не зря так вышло, что её место изначально оказалось напротив точно такого же молчуна, но на сей раз у дверцы с наглым видом стоял студент и вовсе не собирался влезать в карету первым. Он лишь иногда одним глазком, украдкой заглядывал в салон, дабы лишний раз поймать расположение соседа. Подойдя к порогу, эта хрупкая скромная мисс едва ли хотела вежливо напомнить об очередности мест, о правилах перекладных билетов, которым молодой человек и обладал, что его проезд начат не с Кембриджа, но взглянув и заприметив этот весьма неумный мужской задел, она тут же поняла, что лезть первым этот наивный юнец не станет.

— Мадам, пока вас не было, мы решили немножко поменяться местами. Надеюсь, вы не станете возражать, — с необычайно сладким тактом выплясывал всё тот же студент, — видите ли, погода может резко испортиться, может подняться сильный ветер и полить холодный дождь. Знаете, капельки такие противные и холодные? А дверца нашего дилижанса, — прикрикнул он вроде как в адрес извозчика, — дверь наша плохо закрывается и может поддувать. Обязательно будет поддувать! Лить даже будет, скажу я вам! — стелился он, подавая ей руку. — С чего мы и решили, мы, джентльмены, — с какой-то надменной гордостью он это произнёс, по крайней мере, ему так хотелось, — в общем, чтобы вам, мисс, было теплее и безопаснее, мы вас пересадили.

Он с нетерпением ожидал реакции, пусть даже и не хвалебной, на этот случай у него уже были заготовлены обороты, но её полное равнодушие оказалось куда выше всех его представлений. Не обронив ни слова, ни единого взгляда, девушка просто и молча вошла в салон. Студент удивлённо фыркнул и тут же сам задорным кузнечиком прыгнул вслед за ней. Дверца хлопнула, дилижанс тронулся и дальше отправился в путь. И вновь потекли реки, мили, поля, селения, солнце, стесняясь, всё непроглядно куталось куда-то в морозящие дождём облака. Лишь изредка и кратко солнце напоследок дня кидало какой-нибудь единственный луч, без особой охоты освещая им туманные перелески, холмы да уголья. Внутренний наблюдатель мистера Ньютона, а попросту говоря, его сознание уже мало понимало, где есть явь, а где есть его сонный вымысел. Веки, напрочь потеряв ритм и ход времени, с каждым разом становились всё тяжелей, и совместно с плотной завесой они таким образом открывали его внутреннему пространству новые картинки. И реальность, самая что ни на есть обыденная, была ему теперь безразлична, как, впрочем, и жизнь, и попутный вымысел — всё теперь стекало в одну сонную кучу. Обрывки слов, какие-то цифры, наклонные модели неба, чей-то противный смех, пульсирующий поток направленного света в большую призму, запах кремовых роз и липкая громкость чьей-то незримой беседы. Все подобные детали, пограничные бредни Ньютону давно уже казались настолько неважными, что с какого-то периода он перестал их даже пытаться хоть как-нибудь идентифицировать. Это был просто хаотичный галдёж с иллюстрациями внутри его утомлённой головы. «Ну зачем мне это всё? Кому это? Господи, для чего?» — картинки его прежней жилой комнаты вновь всплывали пред глазами. В окружении бумаг и прочей канцелярской скверны на столе лежит гелиоцентрическая система планет, но об этом знают лишь двое — Исаак Ньютон и Исаак Барроу, ведь вместо планет по поверхности стола импульсивно скользит вся подручная утварь. Они, давно уж потерявшись во времени, далеко не первый день горячо ведут непримиримый научный диспут, поочередно ковыряя доводы то пером по бумаге, то угольным камнем по серой стене. Спор идёт, и каждый всегда частично не согласен с теорией оппонента, но самой сутью пока ещё не пахнет. Зато пахнет хлебом и едой. Скрипнул пол, отворилась дверь, и с бликами эмоций к ним вошёл тогда ещё студент Джон: «Смотрите! Мистер Ньютон, мистер Барроу, поглядите, что я принёс! Вы только посмотрите! Специально для вас, моя инициатива. Булочник, мистер Грюммер, недавно создавал эти шедевры, вы только поглядите: булка, бублики, кекс, рогалик с помадкой — всё ещё горячее, а аромат-то кокой дивный!» Наполненный счастьем Джон протянул своим учителям корзину с пекарскими

шедеврами, но вместо лавров и благодарностей он был попросту отторгнут в сторону, а горячий, безумно ароматный и хрустящий хлеб тут же в руках учёных начал превращаться в ещё одну систему расставленных планет. Гелио- и геоцентрические системы на столе, два учёных вокруг, и каждый, стоя на грани открытия, они вспышками безумной страсти поочередно что-то друг другу доказывают, оставляя за собой ворох бумаг и шлейфы эмоций. «Воспоминания... К чему они вновь кружат вьюнком, мгновениями позволяя всё это снова ощущать, словно бы наяву?» — на этот вопрос у Исаака Ньютона попросту не было ответа.

— Мадам! Позвольте представиться! — где-то вдали возник голос военного мундира, и тут же внахлёст он начал слоиться какими-то новыми картинками в голове Ньютона, путая тем самым окончательно все его чертоги. А голос, наскоро усиливая своё земное притяжение, всё продолжал что-то вещать поверх всех планет на рабочем столе. — Мадам, перед вами офицер штаб-сержант Кливз, — заёрзал он, сидя на месте. Сосед горделиво дёрнул головой и умудрился даже как-то пристукнуть каблуками сапог, — со мной, мадам, вы можете чувствовать себя в безопасности! И главное, уверяю вас, со мной вы ни за что не погрязнете в тоске!

Голоса и картинки в полудрёме профессора всё текли да сменялись, и как-то так само собой незаметно оказывалось, что с того момента, как дилижанс тронулся с последней остановки, минуло уже несколько часов, и зимний сумрак, тяжелея, понемногу сгущал тени. Темнели дали, и ветви во тьме становились ближе. Было такое ощущение, будто ветви те — это тянущиеся линии голых корявых рук чьей-то древней тайны, что с каждым поворотом обретает ещё большую силу, и не ровён час, она спутает тропки и целиком накроет карету своим волшебным дремучим покрывалом. Ньютон, конечно, от таких наслоений немного проснулся и вынырнул из своей сонной пропасти, он немного ожил и зашевелился, но окружающим его попутчикам в темнеющей карете было как-то не до него.

— Позвольте, мадам, отрекомендовать вам милейшего, — тыкнул он твёрдой рукой в сторону студента, и улыбнувшись, Кливз запнулся. — Эй, эй, слышь, студент, — едва ли шёпотом он дёрнул его, — как там тебя?

— Мистер Гринч, — гордо вставил студент.

— Точно, мистер Гринч! — всплеснул вояка руками. — Война, знаете ли, мадам, память совсем ни к чё... В общем, подводит иногда.

— Какая ещё война? — конечно, про себя возмутился студент, начиная уже немного подкипать от такой трактирной чуши. Виду он, разумеется, не подал, лишь робко спросил: — Мадам, а вас, простите, как?..

На что попутчица даже не отреагировала. Девушка, как и прежде, вежливо и скромно продолжала тихонько вжиматься в сидение, кутаясь в пальто с небольшими меховыми вставками на рукавах и воротнике. Она пристально смотрела в окно и лишь иногда, едва ли на секунду, отрывала свои выразительные глаза от зимних теней и как-то безразлично обращала свой взор на такого же молчаливого соседа напротив.

— Глейс. Меня зовут Глейс Марквелл, — каким-то уж очень тихим и совершенно безучастным голосом она произнесла своё имя. Хотя к этой весьма известной фамилии стоило бы добавить чуточку больше официальности.

— Очень приятно, мадам! Согласитесь, ведь мы же здесь просто едем вместе! А сколько нам тут ехать? Да мы тут за это время, тут вообще мы, тут это, — увлёкся Кливз мечтами. Его голос был громок и отрывист, — да мы тут за это время, пока вместе едем, мы же тут почти уже как семья в некотором смысле! Ведь дорога, знаете, она как исповедь, — Кливз как-то уж совсем панибратски положил свою тяжёлую руку на тощее плечо студента, — дорога, знаете, она же какой-то тайной нитью вытаскивает из-за пазухи человека абсолютно всё! Все его камушки, тяготы, ведь знакомому лицу человек-то вряд ли сможет рассказать нечто подобное, а в дороге, тут нет ни знакомых, ни родных, ни встречных, ни поперечных. Я, мадам, офицер бывалый, знаете ли, доводилось многое видеть, и в дороге очень часто каждый из нас выступал

в роли какого-то товарищеского священника, что ли. Дорога — это идеальная возможность выговориться, вытащить, наконец, из себя всё то, что так докучает, так свербит, что временами очень сильно тянет на дно.

— Мистер Кливз, а расскажите что-нибудь, пожалуйста! — глаза студента по-ребячески так горели, так сияли, что, выглядывая из-за занавески, офицер попросту отказать ему ну никак не мог.

— Рассказать? — вздохнул он, слегка растягивая момент, огляделся деловито и демонстративно, с отсылкой на манеры, продолжил. — Ну что ж, можно рассказать. Если только дама не против? Ну да, если и мистер также не возражает? — кивнул он равнодушно на полковину Ньютона, где тот время от времени мирно посапывал. Исаак Ньютон то дремал, внезапно погружаясь в сон, то всё глядел куда-то вдаль, куда-то сквозь зимние серо-чёрные пейзажи, будто бы он, глядя в это темнеющее, будоражащее небо, будто бы он смотрел и вовсе куда-то сквозь время и пространство.

— Да никто не против, мистер Кливз, — восторженно ребячился студент. Он тоже немного манерно пушил свой хвост в надежде произвести впечатление на эту молодую женщину. — Глейс, вы же не будете против интересной истории?

Безучастная миссис Глейс молча и совершенно равнодушно перевела взгляд на мужчин, дав понять, что её эта компания попутчиков и не тяготит, но и не вызывает интереса. Глаза её были вдумчивы и сухи, но отчего-то в них всё же не было искры, хотя при этом при всём они были очень красивы. Руки её были нежны, аккуратны, несмотря на явный отпечаток труда, некий плетёный узор ремесла, который лишь дополнял её образ. Да и лицом она не особо походила на девицу тонких манер, просто красивая женщина без излишеств, что не крутит носом и не понаслышке знает, что такое жизнь. А сержант Кливз напротив, он по своей сути никогда не имел какой-то особой глубины, в нём всегда преобладали какие-то более явные и очевидные взгляды. При каждом удобном случае он, как ему казалось, украдкой, пристально разглядывал миссис Глейс, оценочно глядел на её формы, изгибы и мечтательно уже просчитывал ходы. Будоражащих фантазий в его голове было не счесть, там даже появлялись картинки, связанные с наследниками, с семейством и праздничным хаггисом в центре стола. Кливз одержимо и давно жаждал всё это воплотить в реальность, но будучи унтер-офицером, он в своём характере имел гордость не равняться с каким-то там примитивным солдатом и не кидаться сразу в бой, лишь заприметив понравившийся ему объект. Он следовал пошаговой тактике, собой же и созданной на базе военной мудрости, где всё чётко, ясно и по пунктам. А именно: проявить учтивость, увлечь тонкой беседой, показать манеры, затем рассказать залихватскую историю с его героическим участием, и после, уже к вечеру, таверна, ужин и постель. Но как правило, в его стратегии жизни мечты всегда оставались мечтами, а утро следующего дня им никогда толком не рассматривалось, ведь главное, цель взята, он победитель, а пути отхода не столь важны.

— Дело было на войне, — начал он негромко, гордо подняв голову, — наш полк после очередного сражения значительно претерпел сокращение, но бой проигран не был. Мы осели в лесу и ожидали подкрепления. Наше положение было незавидным, отчего мы, не создавая лишнего шума, тихонько крепились, отдыхали и зализывали раны, чтобы вскоре вновь ударить по врагу и отстоять честь короны. Лагерь голландцев находился неподалёку, поэтому был выставлен караул и мы несколькими взводами регулярно совершали обходы. И вот моя группа, в которой, помимо меня, командира, было ещё три опытных бойца, мы заступили в наряд по охране участка левого фланга, а время было ближе к рассвету. Имен своих бойцов и прочие условные обозначения я вам назвать не могу, просто не имею права, — Кливз с каждой фразой всё больше и больше наливался важностью. Он регулярно поворачивал голову в профиль и выпячивал мундирную грудь, напряжённо держа полусогнутую руку подле брюха, давая таким образом всем понять, что его положение в армии ой как высоко. Правда, Кливз иногда забывался, и в череде всех его форменных достоинств он настолько погружался в предлагаемый

обществу утрированный рассказ с его геройским образом, что порой он напрочь упускал тот факт, что его жировой атлетикум настолько сильно разнится с его воображаемым статусом. Но Глейс просто сидела и молча слушала, а что уж там она слушала — это было не столь важно. Шум ли ветра, звуки дороги, героя Кливза или же свои мысли, которые наверняка поглощали её целиком? Главное, она была не против, а студент, чей интерес был впереди всех, он чем ближе приближался к родным местам, тем сильнее и заметнее впадал в упоительные детские грёзы, он слушал и внимал каждому повороту истории, всему тому опыту этого военного человека, обязательно представляя это всё в деталях.

— Идём мы, значит, по тропе. Уже не ночь, но ещё и не утро, такая предрассветная завеса, словно какая-то прохладная тайная нега. По складкам леса разлита тишина, птицы молчат, ветер спит, и мы идём внутри этой удивительной сказки, нам даже не хотелось говорить, мы просто шли, стараясь как можно меньше наступать на хворост. И вдруг в густых зарослях можжевельника что-то зашевелилось, хрустнули сухие ветки, и случилось это ни раньше, ни позже того момента, когда мы проходили этот отрезок. Но мы не растерялись, точнее, я не растерялся, ведь в тех кустах явно кто-то был. Я молча, а главное, молниеносно указал жестом и чутким взглядом своим солдатам на то, чтобы они заняли каждый свою позицию и взвели курки. И мы тут же осторожно, тихо и скоро принялись инспектировать этот малый участок, — Кливз в некотором смысле, пока рассказывал, сам погрузился в воображение. Он увлёкся и вместе со студентом переживал каждый новый момент, то и дело подкидывая вверх эмоции юнца. — И вот бойцы стоят, один спереди, один сбоку, а двое тыл прикрывают. Я в центре, страшно, но мы всё же подобралась вплотную и смело вошли в неизвестность. А вдруг там враг затаился? Но никто из нас не трусил! Никто даже не пискнул от страха! — акцентировал вояка, всё шибче подогревая интригу слушателей, а точнее слушателя. В полумраке кареты в сопровождении истошного скрипа одной рессоры виднелась лишь одна пара блистающих, словно бы маячки в тумане моря, искрящихся глаз. Снаружи, правда, доносился ещё и смешливый гогот второго кучера, хлёт поводьев да изредка виляющий ритм подков, но ничего более, чего так или иначе желал Кливз, слышно не было, ни Глейс, ни даже, на худой конец, Ньютон, признаков своего участия не подавали. Но тем не менее штаб-сержант Кливз продолжал: — И вот мы замерли, подойдя вплотную к кустам. Солдат отодвинул мохнатую ветвь можжевельника, и там, там, — в придыхании замер Кливз, — там, друзья, там была до смерти перепуганная хозяйка гнезда, журавлиного семейного гнезда... Она тогда точно так же, как и мы, стояла и смело смотрела на нас, смотрела смерти прямо в глаза, боялась, но ни на шаг не отступала. Она и не собиралась покидать гнездо, она скорее даже была готова кинуться в атаку, напасть первой, чтобы защитить и отстоять своё потомство. А потомство, точнее, дюжина яиц, они лежали аккуратно под её встревоженным опереньем, и она никак не собиралась его потерять. Мы тут же смекнули и капитулировали, восторгаясь таким отчаянным рвением защищать своё потомство, свою семью, пусть и безнадежно, зато честно. Но на этом история не закончилась. Мы все, конечно, где-то в глубине души испытывали чувство то ли гордости за этот поступок, то ли благородство нас так переполняло, в общем, от полноты всех этих чувств одному из моих солдат понадобилось отойти в кусты. Ну, так бывает, что же, все мы люди, — Кливз пусть и нелепо, а порой и вовсе невпопад, он всё же любил шутить, и иногда ему это удавалось. Он вместе со студентом щедро зашёлся смехом, не забывая при этом пристально обращать свой взор на мисс, которая то ли юмора не имела, как он посчитал, а то ли она просто напряглась от столь грубой сатиры. Офицер, не прогоняя улыбки, слегка замешкался и, будто бы невзначай, достал из внутреннего кармана своего военного сюртука небольшой плоская бутылка, искусно обёрнутая в плетёный чехол из тонких кожаных лоскутков. Сама бутылка вмещала в себя пинты полторы, не более, офицер выдернул пробку, та повисла на бронзовой проволоке у горла, и тут он глубоко вздохнул, после чего продолжил: — Отличный трофей! Однажды мы успешно выступали в одной военной кампании, не буду называть в какой, сами понимаете, дела секрет-

ные, так вот, именно под моим руководством был взят главный штаб врага. А трофеей этот был мною победно изъят у самого генерала! Да! Пусть и вражеского, но поверженного! Просто вот так всегда, когда вспоминаю тот случай, нет, не про генерала, а тот наш предрассветный поход, у меня начинает сжиматься сердце. И я, как настоящий боевой офицер, — отчаянно стукнул он себе в грудь, — я не могу себе позволить, не могу допустить, чтобы пролилась слеза, поэтому я просто, — сглотнул он натужно, — просто беру и немного выпиваю, разбавляю, так сказать, эту горечь. Ну так вот, стоим мы тогда в паре метров от того журавлиного гнезда и ожидаем этого... ну, в общем, ждём товарища из кустов. Он едва ли отошёл, и раздался крик! Ну, мы, конечно же, вмиг отреагировали и ринулись в заросли к нашему солдату. Первым влетел сержант, он и наставил оружие на ту голландскую засаду. Мы их мгновенно окружили и взяли на мушку, ну, кроме одного нашего солдата. Он, перемежая внезапный страх с приступами смеха, наскоро стоял и заправлял штаны, напроочь забыв, зачем он, собственно, в кусты-то и полез. Назвать этих ребят разведкой или какой-то там спецгруппой, знаете, у меня язык не повернётся их так назвать, это были два молодых бойца, лежащих на земле под прицелами наших ружей. Точно такие же зелёные пацаны, как и мои, только эти в голландском обмундировании. Я сразу всё понял, едва ли заглянул в их большие, испуганные глаза. Глупая смерть. Можно даже сказать, позорная. Погибнуть не сражаясь, не на поле брани, как истинный солдат, а так, где-то в отхожих кустах, — это не смерть бойца. Была бы таковой эта последняя точка ребят, если бы я не принял своего мужского решения. Поступили бы они так же, окажись они в этой ситуации впереди нас, — я не знаю, но я приказал своим ребятам опустить оружие. Брать и тащить их в плен, пытаться, выпытывать у них какую-то там тактическую информацию, какие-то тайны было бессмысленно. Стоило лишь глянуть на них, и всё становилось ясно и понятно, что это просто патрульные ребята, которые здесь, на войне, пытаются жить, радоваться, надеяться, а быть может, даже и любить. Да, наш полковник был весьма жёстким человеком, и он сразу бы приказал их расстрелять, даже глазом бы не моргнул. Мне этого не хотелось, — Кливз уже лоснился от гордости, смакуя каждую деталь, — и вот я скомандовал: всем разойтись по своим направлениям. Эти два щуплых солдатики настороженно приподнялись с земли, колени у одного заметно дрожали, а второй всё пристально смотрел мне в глаза, он не мог понять, никак не мог ощутить тот ожидаемый подвох. Они отступили от нас, шли спиной, натываясь на ветки и спотыкаясь о кочки, во взгляде того я отчётливо видел не то чтобы благодарность, нет, скорее уважение, настоящее, искреннее мужское уважение. Они вскоре растворились в зелени, а мы дружно оглядели друг друга, ещё раз посмеялись над любителем придорожных кустов и тоже направились в свою сторону. И да, напоследок, как бы это сказочно ни выглядело, нам вслед то ли с упрёком, а может и тоже с уважением, курлыкнула та встревоженная журавлица.

Заканчивая свой рассказ, Кливз не просто светился, он блистал своим тщеславием, ему так нравилось быть героем, особенно в глазах впечатлительных дам, но Глейс, как и прежде, холодно сохраняла нейтралитет. Кливз не думал, он был уверен, что под маской её равнодушия, там, внутри неё, прячется и обязательно ликует, горячо бьётся девичье сердечко, ведь эта история ещё ни разу не давала осечки.

— Ничего, ничего, — думал он, — впереди нас ожидает таверна, вечер, ужин, ну и...

Зато студент просто сыпал восклицаниями, его восторгу просто не было предела, глаза его горели, и он временами даже подпрыгивал с места, всё выкрикивая: «Герой!» Он привставал и всё пытался заглянуть офицеру прямо в глаза, правда, все его попытки были тщетны, Кливз ежесекундно находил веский и неприметный повод перевести взгляд, дабы не встретиться с ним глазами. Он то горделиво оправлялся, то церемонно смотрел вдаль, олицетворяя настоящего человека, вписанного в историю, а то тактически примыкал к трофейной бутылке. Этого никто не заметил, кроме внутренней суety самого офицера. Внешне виду он не подавал, он также продолжал вести диалоги, лосниться и с каждым глотком зелья в меру наглотать. Он строго шёл по выверенной им же самим некой тропе, ведущей его к победной взаимности с непри-

ступной Глейс. Уже почти стемнело, и до очередной станции оставалось совсем немного. В это время года любой путь обычно занимал вдвое больше времени, хоть дороги были и значительно свободнее, нежели в иные природные и рабочие сезоны года. Темнело рано, а луна английского неба в пути весьма ненадёжный помощник, холода тоже брали своё, и вдобавок ко всему после полуночи, а иногда и совсем ранним вечером, туман щедро и радушно одаривал своим плотным вниманием каждую, не только низинную, но и самую обычную, магистраль. Зимой поездок было немного, но являлось ли это очередным оправданием столь редких визитов домой? Ньютон временами сильно морально болел, он никак не мог избавиться от навязчивых размышлений, он не раз пытался отпрянуть от этого странного чувства, имевшего какое-то, по сути, косвенное отношение к вине. Назвать эту тяжесть надуманной ерундой, помноженной стократ? — возможно, это было бы вполне даже уместным мнением со стороны. Основание любого фундаментального мышления можно пустить под откос, а после и вовсе отправить его в хаотичное плавание посредством нерадивых чувств и размышлений внутри человека. Но совершить такую диверсию может только лишь сам человек, собрав и соединив в себе воедино такие ингредиенты, как: пустота, извечная неуверенность, какие-то душевные травмы и серая реальность, приправленная дорогой, совместно с сомнениями, что ульем жужжат в сознании с самого раннего детства. «И вроде лет-то мне уж немало, да и сама жизнь, по идее, явление самостоятельное, но всё что-то не так. И вроде корреспонденция с домом всегда регулярна, и ссор серьёзных никогда не возникает, но почему-то каждый раз, когда в отчем доме случается какая-то неприятность, какая-то болезнь, я тут же начинаю чувствовать себя паршиво, словно бы это моё упущение. И тут же все мои мили, все мои прореженные с годами явки, все они, чуя момент оказии, мгновенно начинают тяжелеть где-то там внутри. А те полярные чаши немого диалога, они так же непримиримо начинают асимметрично довлеть и склонять большую голову к черте, кутая зачем-то мою и без того изъеденную совесть в хлипкое пальтишко каких-то там взрослых оправданий. И каждая та отсчётная миля является мне кошмаром, они в своём общем объёме предельно схожи с той мириадой капель, что мерно и едко падают в сосуд, в котором регулярно плодятся, да, по большей части надуманные причины какой-то вины, но легче от того знания, что все те версии вымышленные, никак не ставится. Да к тому же в топку воспалённого мышления торжественным излишком обязательно влетит ещё и то пресловутое, испепеляющее „если“. И ведь эту сволочь же не выкинешь, не вытравишь просто так, ты это „если“ вроде давишь с одной стороны, а оно с другой стороны уже праздным артистом кружит, так и показывая сознанию все свои колеблющиеся „если“-сцены», — Ньютон, конечно, пытался гнать от себя все эти образы, но едва ли он переключался на цифры или же начинал думать о космических просторах, как тут же память выдавала лица близких, ушедших Исаака Барроу и Генри Ольденбурга. «Надо же, двое единственно честных, совершенно не меркантильных, настоящих учёных, два ближайших мне человека, и оба они ушли», — вновь и вновь скорбел Ньютон. Сидя в карете, он изредка даже уже пытался вслушиваться в речи попутчиков, но и это занятие ему также особо не помогало отвлечься. И чем темнее становилось за окном, тем быстрее внутри него начинал вращаться тот отчаянный принцип паранойи, который совершенно не позволял ему остановить своё внимание на какой-либо одной теме. Всё получалось напротив, словно бы каким-то умалишённым образом, его центробежная мысль бесконтрольно начинала прыгать и скакать по всем глубинам его научной трясины. Подобные состояния были не новы, и те ковыряния, что за столь продолжительную вереницу лет так и не сумели отыскать выход из этого лабиринта, они смело по случаю могли бы претендовать на полноценную формулу бинарного кода жизни, где в периодах графика красовались бы отношения между внешним и внутренним миром человека. А основой этому научному изысканию, конечно же, послужила бы любимая фраза Ольденбурга: «Лишь имея душу, сознание человека может обрастать терзаниями». Не так давно, в начале 1670-х годов, когда ещё то открытое сердце Ньютона и его искренняя вера в людей, в общее дело чуть

ли не покрылись льдом тотального разочарования, тогда-то Генри Ольденбург и явился ему тем спасительным маяком в жизни. И пусть его вера в людей особо-то и не восстановилась, тем не менее поддержка мудрого председателя Королевского общества была своевременна и критически необходима. С тех пор сэр Ньютон и научился не растрачивать попусту свой энтузиазм, пусть эта привычка и сулила ему путь научного отшельника, что, в принципе, было по душе Исааку Ньютону, но также это тяжкое полусумасшедшее бремя позволяло ему иначе и с каждым годом всё глубже смотреть на мир.

А дилижанс тем временем на всех парах мчал по направлению к городу. Вдали уже виднелись огни, и малость взмыленные кони, обгоняя густеющую темень, резво били звонкий галоп по широкому накатанному тракту, приближая уже всех изрядно уставших пассажиров к заветному дому, а кого и просто к дорожному ночлегу. Благодаря весёлому офицеру тишина не была наполнена томящим предвкушением скорого прибытия, которое всегда, везде и всюду имеет особенность неистово тяжелеть в последние часы, минуты ожидания событий. Настроения это, конечно, никому не добавляло, зато лишний раз никому из салона не позволяло погружаться в размышления. Мысли-то были у всех, но какова была их градация и глубина в каждой отдельно взятой голове — это снаружи, увы, узреть никак невозможно. И если изначальная серьёзность Исаака Ньютона с виду всегда была явной и чрезмерно обозначенной, разумеется, давая всем окружающим понять, что человек этот глубок и мысли его сравнимы с томами Александрийской библиотеки, то вот с менее грузными людьми подобная ситуация может складываться несколько иначе. Штаб-сержант Кливз к вечеру снаружи был вроде, как и прежде, весел и громок, но вот судя по его нарастающему вою где-то в глазах, что пытался он глушить алкоголем, становилось ясно, что там, внутри него, есть какая-то тайна, какая-то боль, что незримо сидит там каким-то червячком в поношенных галифе и поедает его изнутри. Кливз всё сидел и изрядно пьянел с каждым новым глотком, что-то его очень сильно тревожило и выкручивало наизнанку, иногда он отчего-то был готов даже выть, вероятно, по причине того, что ничего нельзя вернуть и уж тем более исправить. А дело было так: история та, которую он давеча так горделиво рассказывал попутчикам, она действительно случилась на войне, но рассказывать её в оригинале офицер никому и никогда не собирался. Та его боевая история иного изложения, конечно, имела некие достоверные факты, но основной сюжет того фольклора приходился как раз таки на тот корень истории, где сержант Кливз — герой, где он весь такой благородный и настоящий, одним словом, идеальный мужчина для топки девичьих сердец. Собственно, и в этот раз всё должно было пойти по запланированному маршруту, но тем вечером Кливз встретил горящие, восторженные глаза юного студента, он попросту наткнулся на них, рассказывая про все свои геройства. Тут-то и зашевелилось в груди, ожил тот его червячок и принялся скоблить душу. Глаза этого студентика были точь-в-точь как те глаза его товарища, что пристально смотрели на него, внезапно покидая жизнь. Тот солдат, что так внезапно и нелепо пал из-за какой-то глупости, к которой Кливз на этот раз уж достоверно и по-настоящему был причастен. В кебе он то и дело пытался уйти от взгляда студента, думал, показалось, но позже, когда история была уже в разгаре, там-то он вновь и встретил те знакомые горящие глаза, что прожигали его уже насквозь. А шли они тогда действительно по лесной утренней тропе, и их группа вправду, так же как и в истории, находилась в дозоре, и подходили они так же к условной черте, за которой, вполне вероятно, мог бы быть враг. Там-то и случился этот конфуз, где также были и яйца, и гнездо, правда, на этот раз без заботливой птицы. Но самое главное, что обнаружил-то их тогда не кто иной, как сам Кливз, тогда ещё молодой рядовой и глупый. В карауле Кливз был до ужаса неуклюж, он хрустел сухими ветками, ступая на них, словно бы медведь, в то время как в воздухе, наряду с интуитивным запахом опасности, повисла ещё и некая гробовая тишина, что обычно всегда предвещает беду.

— Кливз, твою мать! Что ты как слон индийский?! Аккуратнее иди, — шёпотом на него ругался командир, — иди! Слышишь? Иди, проверь вон те кусты.

Кливз тихонько подошёл, отогнул увесистую ветку, что свисала прямо до самой земли, и как заорёт:

— А-а-а-а-а, змея-я-я-я, змея-я-я-я, а-а-а-а-а...

В тех кустах можжевельника пухлый Кливз как раз таки и обнаружил то самое гнездо с яйцами, в котором уютно завтракала змея. Но всё бы ничего, если бы не то, что в паре шагов от этой сцены действительно находилось двое маскированных солдат вражеской стороны. И те, и эти резко подорвались и, реагируя на такую-то сирену, буквально в какие-то считанные секунды ретировались по сторонам, и прозвучало три роковых выстрела. От такого мгновения один английский солдат упал сразу и почти бесшумно умер, так и не поняв, что с ним произошло. Именно его глаза, этого юного человека, тогда пристально смотрели на Кливза, в час, когда жизнь его так внезапно оборвалась. Те два голландца, кто их знает, как бы они себя проявили, если Кливз не заорал бы дурниной? Вопросов тогда у командира и рядового Кливза была уйма, и все они были без ответа. Зато, когда едва ли они отступили от пограничной линии, взбешённый командир очень желал услышать своего туповатого подопечного.

— Ты... ты... чего ты орал-то?

— Там змея, змея там была! Она яйца там ела. Я, это, ну, внезапно всё так, она там, это... Я испугался, что она может кинуться на меня.

— Ты придурок, Кливз! Лучше бы она твои яйца съела! Куда бы она тебя укусила, а, булочка ты сдобная? В сапог бы она твой ужалила из крепкой кожи? Куда ей тебя кусать? Придурок! — штабс-капитан никак не мог ни отдышаться, ни поверить до конца в произошедшее. — Значит так, в докладе полковнику я поведаю только то, что мы просто наткнулись на засаду, и всё. Понял? — он порывисто бросил в него свой комок ненависти и тут же подскочил к нему вплотную, желая порвать его на куски, но скрежеща зубами и раздувая огненные ноздри, он, понизив тон, продолжил: — И запомни! Запомни, сволочь, эта смерть, смерть нашего солдата, она на твоей совести!

Вскоре этого командира и самого не стало, он пал смертью храбрых в ближайшем сражении. И выходило так, что живых свидетелей того лесного инцидента никого больше-то и не осталось. Голландцы те наверняка мертвы, солдат тоже вместе с командиром отправился в мир иной, а совесть... а что совесть? Изредка, конечно, она его мучила, особенно когда он надолго оставался наедине с собой, но это случалось не так уж и часто. А тут дорога, дилижанс и глаза эти вдруг...

За окном уже мелькала окраина, огни улиц и домов заглядывали в кеб, внося своим мерцающим светом какое-то торжество долгожданного свершения. Спал только студент, по-детски сопя и гулко ударяясь головой о балку каждый раз, когда карета вынужденно подпрыгивала на городских камнях. Ньютон, как и прежде, продолжал быть идеальным пассажиром, сидел тихонько, никуда не встречал и молчал, будто бы его здесь и вовсе нет. А Кливз, одолжив смелости у алкоголя, всё же решил взять и небольшим напором атаковать эту неприступную крепость — миссис Глейс.

— Вы так прекрасны, миссис Глейс! Не хотите ли составить компанию и отужинать со мной?

— Нет.

— А почему? Позвольте поинтересоваться, — удивлённый отказом, он спросил слегка заплетающимся языком. — Вам не понравилась моя военная история?

— Нет.

— Ну хорошо. Ну, дайте же мне шанс. Позвольте мне рассказать вам другую историю, у меня они есть. Накопилось, знаете ли, за жизнь-то мою непростую. Ну так что, я могу надеяться?

— Нет.

— Ну что с вами такое? Вам срочно нужна компания, я это прям чувствую, — придвинулся он к ней, прежде сделав ещё один добрый глоток, — я вам про что угодно расскажу! Вот однажды у нас в полку...

— У меня брат в армии погиб. А дядя на войне, — холодно молвила она, — а сейчас я еду на похороны другого моего дядюшки. Чем вы хотите меня утешить?

Глейс без раздражений, без единого упрёка повернула, наконец, голову и вперилась в кривое от хмеля лицо офицера. Её грустные и одновременно чарующие глаза добились его окончательно, отчего он, естественно, не протрезвел, не покраснел и даже не извинился, он просто замолчал и привычно засопел. А тем временем улица за окном окончательно засветилась облием вечерних огней славного города Питерборо. Вскоре угрюмый низкий голос кучера объявил: «Приехали». И открывая дверцу дилижанса, он не ринулся сразу прочь, как непременно сделал бы он в любой другой раз, кучер Пол, слегка потупив голову, честно стоял и намеревался сопровождать вверенного ему мистера по всем надобным пунктам мотеля.

— Наконец-то дотелепались! — Кливз, вопреки всем правилам этикета, выскочил первый, понаступав при этом всем на ноги и обтерев всех своим пузом, а после с весьма недовольным лицом он принялся осматривать близлежащие здания, будто бы торопился куда-то опоздать. — Чем это так воняет? А?

— Это с болот, мистер Кливз, — крикнул студент, следом вылезая из кареты. Он потянулся и, бодрясь, начал энергично подпрыгивать, стоя на месте, — это болота у нас тут. Их осушают. Как ветер с северо-востока начинает дуть, так запах болот по улицам и гуляет.

— Всё понятно с вашим городком! Эй, кучер, где там что находится? Ай, ладно, сам разберусь.

Нервный, весь дёрганый, незнамо на кого обрушить свою претензию, Кливз ускоренным шагом направился к ближайшему трактиру. Площадь была небольшой и округлой, с милой летней клумбой по центру, местами стояли такие же кареты иногородних маршрутов, стоял тихий, немного зябкий вечер. Казалось бы, эта привокзальная площадь со всех сторон была окружена всевозможными тавернами, пабами, домами с номерами и прочими гулками заведениями, но тем не менее вокруг было тихо. Спокойствие зимнего вечера Питерборо разбавляли своим фырканьем и звонким битьём подков о вымощенные камнями площади разве что лошади. В подобных местах из местных горожан мало кто появлялся, ежели только те, кто из особо ночного контингента, кто-то из забулдыг, игроков или же кто-то из бандитской кодлы. В общем, из приличных, честных лиц там обычно были лишь транзитные граждане, которые наскоро и сносно ужинали, а затем так же неприметно спешили поскорее в свои затёртые номера, дабы мирно провести там несколько часов сна и утром продолжить свой путь. Снаружи площадь казалась и виделась всем тихой, немногочленной и абсолютно смирной, как, впрочем, виделся таковым и весь город целиком, но что скрывала эта площадь внутри, что она прятала там, за той неприступной чертой спокойствия и за стенами этих светло-коричневых зданий? Кучера, конюхи, ремонтники и прочие дорожники, они обычно держались своими компаниями, в стороне от пассажиров и местных азартных уголков. Становясь под освещённым навесом, они, как правило, починяли неисправности, обменивались свежими байками, грубо шутили и выражались на своём простом языке, ели, пили и даже играли в карты, в кости на деньги, но строго только среди своих. Пол никогда не спешил присоединяться к ним, да и доверчив он был как ребёнок, несмотря на его полнейшее сходство с суровым викингом. А вот напарник его Джек, тот был, напротив, заядлым игроком. Угрюмый Пол выдал багаж студенту с мисс Глейс, и они вмиг растворились где-то в тиши своих направлений. Указав мистеру Ньютону на одно из самых обветшавших зданий, он, шаркая косолапой походкой, негромко бормотал по пути пояснения: — Вы, мистер, не смотрите на внешний вид, таверна эта и гостевой дом, они лишь снаружи такие, а внутри, напротив, в них, знаете, поуютнее будет, нежели там, в этих вон, — хотел он было ругнуться, да прервался, лишь показав рукой на некоторые соседние заведения.

Редкие прохожие шли навстречу, был ещё не столь поздний час. Ньютон не то чтобы равнодушно смотрел на них, он в принципе ничего не замечал извне, ни прохожих, ни сквозняка с болотным подтекстом, ни говора Пола, — здесь, знаете, и чисто, и натоплено, и есть можно, не опасаясь за живот. Я и хозяев хорошо знаю. А то вон в этих вон, — он снова чуть было не матюгнулся, — сколько уже раз-то было такое. А они туда всё равно прутся, как эти, как мухи на... Сэр, вы не переживайте, я хозяйку попрошу, чтобы она вам всё показала, рассказала, а утром за час до отправки разбудила.

Конечно же, Пол обо всём договорился, иначе он просто не умел. Их заботливо встретила женщина лет пятидесяти с добрым, располагающим к себе лицом. Пока Пол тихонько ей что-то объяснял в стороне, её художавый, молчаливый и весьма обходительный муж, бывший военный, принимал у Ньютона одежду. Хозяйка тут же вернулась, по пути охотно и одобрительно кивая Полу головой, взяла в руки большой горящий подсвечник и направилась показывать постояльцу его комнату. По лестнице они поднялись на второй этаж, откуда был виден весь холл целиком, там за большим столом ужинали: семья с ребёнком, какая-то юная особа и несколько мужчин. Они не были знакомы друг с другом, и более того, они даже и не собирались этого делать. Заприметив ещё одного поднимающегося гостя, они, не обратив на него никакого внимания, продолжали доедать свой ужин. Кем хозяйка приходилась Полу, было неизвестно, быть может, он от своей гиней и заплатил ей какую-то часть, но главное, что этому новому посетителю эти хозяева оказывали особый уход. Ужин, естественно, чуть позже принесли в номер, точнее, что от общего стола осталось. Какая-то то ли похлёбка, то ли гуляш из гороха, паприки, грибов и говядины, там же, на подносе, был ещё пирог с рыбой, которого, собственно, Ньютон и отведал, задумчиво стоя у окна и привычно кроша едой на пол. Он вновь оглянулся: стол, медный подсвечник, занавески бордо, вид из окна такой же похожий — всё это возникло пред ним как-то разом, возникло неким скопом и тут же встряхнуло его память. Наверх снова поднялась горечь, пламя и пепел вновь усиливали тот скрип души, что непередаваемой пустотой звенел внутри Ньютона, напоминая обо всех канувших, о сгоревшем его жилище и о необратимости его жизни. Ньютон давно уж имел эту никому не любимую привычку стоять у окна и крошить каким-нибудь куском пирога, молча глядя куда-то вдаль. Только вот раньше за собой этой привычки он не замечал, а тут и условия иные, и город чужой, но всё тот же в горле ком. Его внутренний мир, впрочем, как и сама ось его жизни, они никогда не тормозились о какие-нибудь бытовые и осязаемые вещи, зато вот мир чувств и воображений, они-то и являлись основой многих его и открытий, и переживаний. С годами Исаак Ньютон не растерял, не утратил ни грамма той детской наивности, он даже, напротив, усовершенствовал её. В своём молчаливом обиходе он очень много чего фантазировал и представлял, глядя на мир всё тем же детским, нестрогим взглядом, а после он точно так же мысленно брал и с лёгкостью накладывал все эти воображаемые силы, формулы, проекции, тела, энергии на реальность окружающего мира. Таким образом он всё пытался понять, осмыслить все те когда-то возникшие на Земле загадки, понять и, быть может, даже объяснить какие-то причуды природы, непознанной жизни и Вселенной. А загадки те, объективно говоря, были всё те же, что и у всего остального человечества, и по большому счёту всегда выходило так, что мир в целом — это и есть тайна. Ведь куда ни плюнь, куда ни ткни пальцем — всюду есть загадка, всюду присутствует нечто до конца не ясное, но при этом давно облачённое в обыденную привычку жизни. Но самое интересное то, что все они поэтапно, словно бы опираясь на какие-то небесные часы, дозированно выдаются текущему человечеству в виде неких намёков и озарений, позволяя тем самым к сроку совершать очередной шаг эволюции. И покуда человек будет существовать как вид, столько времени и будет функционировать весь этот волшебный механизм. И так вот каждый раз, когда интерес и страх непознанного жгучим перцем азарта подначивали дух Исаака Ньютона, он с головой погружался в мир своих абстракций, заглядывая порой даже за грань. И стоя у ночного окна, он, сменяя образы в тяжёлой голове, сам того не заметил, как лёг, не снимая одежды, на

старую тахту и погрузился в сон. Квартиры и комнаты английских населённых зданий всегда отличались особой слышимостью, так как все они имели перегородки едва ли толще бумаги, отчего какие-то отдельные шевеления в общем оркестре мотеля могли остаться и вовсе незамеченными. За окном была ещё темень, но негромкие звуки, шедшие с кухни, с холла, а также с рабочих кузниц, что располагались недалеко и слегка уже позвякивали молотками, говорили о том, что солнце скоро уже встанет и начнётся новый день. Сэр Ньютон проснулся вовсе не от шума этой утренней возни, не даже от заезжей гульбы, что умеренно жужжала мужскими гомонами за стеной, он проснулся, как обычно, просто так, поперёк всех законов сонной неги. Уже более года он спал от случая к случаю, да и то тот сон был скомкан и не имел ни единого намёка на расслабление. Привычно и бессмысленно он минут десять кряду потарачил глаза куда-то сквозь, встал и засобирався вниз. Вечерний чад и плотный уют за ночь почти осели, а утренняя прохлада осторожно разбавляла их своими вкрадчивыми покалываниями остывшей сырости, что тянулась с улицы и постигала холл. Ньютон молча выпил предложенный таким же молчаливым хозяином чай и покинул заведение. Профессор, как и прежде никого не замечая, ни сомнительных заведений, ни цепких глаз, стоящих близ их дверей, просто куда-то шёл. Внутри было такое гулкое состояние пустоты, что им не замечалась даже эта утренняя мерзость прохлады, и не знакомясь со своими отдалёнными побуждениями, он просто решил немного пройтись пешком по площади, благо масляные фонари местами были ещё зажжены. И самое пагубное в подобной ситуации то, что в где-то там, внутри головы, всегда найдётся какой-нибудь собеседник, ведь всегда приятно побеседовать с умным человеком, как любил шутить Исаак Ньютон. Правда, эта шутка вне близкого окружения редко когда могла вызвать улыбку на лицах, а иногда она была и вовсе чреватой. Учёная травля и завидная подлость всегда были с ним где-то рядом, неважно, какого местечкового значения были те плевки, или же масштаб уходил в глубины английского Королевского общества, всё равно довести подлость до точки ни у кого не получалось. Да, были те, кто истерично, с пеной у рта, громко доказывал всем, что шутка эта с внутренними беседами есть не что иное, как разговор с дьяволом, и что такое изуверство не может быть приемлемым знанием в христианском мире. Исаак Ньютон хоть и не был знаком с тонкостями востока, в отличие от его друга и соратника Исаака Барроу — любителя мистицизма и философии, но тем не менее, сам того не подозревая, он пристально склонился к одной мудрости Лао-Цзы: «Знающий не говорит, а говорящий не знает». И теперь, неспешно бродя от фонаря к фонарю по пустынной площади, Ньютон, как истинно знающий, ступал мелким вдумчивым шагом и молчал обо всём и сразу. И в какой-то момент своего променада Ньютон как-то уж слишком глубоко увлёкся дилеммами, что, сделав круг по площади, он устало вышел к свету и подпёр столб плечом. Внутренний сумбур той беседы у фонарного столба продлился недолго, ровно до тех пор, пока охваченный безумием Пол, придя за час до отправки в мотель и не обнаружив его там, не пустился на поиски вверенного ему мистера. Но до того, как перепуганный кучер подскочил к профессору, Исаак Ньютон, объятый внезапной вспышкой ясности, кое-что понял, стоя у деревянного столба и искоса глядя на огонь внутри фонаря.

— Лампа. Плафон. Свет. Огонь. Не светимость же этого провинциального плафона меня так поразила и притянула к себе? Нет! — словно бы над пропастью витали его идеи, а он будто стоит где-то рядом и полной грудью пытается вдохнуть те искры озарения, что кружат неведомой стайкой у фонарного столба. — Свет в данном контексте есть тепло. Но и это здесь не главное. А если взять и наложить сюда мою теорию? Выходит, что та сила, которая тратится на выделение тепла, она прямо пропорциональна дальности его распространения. М-да, это интересно. Но и это не то! Куда это всё тепло девается?

Сквозь раздумья темень стремительно оседала, и полуночная брешь понемногу сменялась предрассветным туманом. Вскоре подоспел и Пол, он проводил Ньютона до кареты и заботливо усадил. В глазах кучера, конечно же, прослеживался страх, какой-то детский испуг

застыл там в мгновении, но главное, он даже не пытался, а быть может, и попросту он не умел его скрывать. Он был искренен, и каким-то внутренним чутьём он ощущал всю болезненность профессора, отчего он так тепло и старательно пытался за ним смотреть. Вскоре площадь по всему своему кругу начала активно оживать и менять маски ночи на иные лица дня. Кеб тронулся в путь. Исаак Ньютон заметно находился в приподнятом настроении, но был он всё так же молчалив и до самого Грэнтэма не обронил ни слова. Когда совсем рассвело, дилижанс уже мчал по озябшим окрестностям нескончаемых болот славного графства Кембриджшир. Бесконечно петляя по вымокшим объездным зимним дорогам, дилижанс неумолимо приближал Исаака Ньютона к его родным окрестностям Грэнтэм-сити.

Глава вторая

Хайгейт. Пригород Лондона.

Апрель 1680 г.

«Если человек, общество, а может, даже и целая система „чего-то“ не видит, не знает, не замечает, то это никак не обозначает того, что „этого“ и вовсе нет».

В одном из немногочисленных зеленеющих районов Лондона, что находится в некотором тишайшем отдалении от Сити, там, среди прочей элитной роскоши, в одной не слишком уж броской усадьбе должна была состояться неофициальная, но очень важная встреча некоторых лиц. Снаружи усадьба имела самый что ни на есть обычный английский, не слишком помпезный вид: два этажа, всё из бело-серого камня, две небольшие башенки, меж ними вход по центру, а чуть выше лофт и длинный балкон, объединяющий обе половины дома, вокруг сад, дубы, зелень и аккуратный пруд неподалёку. Усадьба эта чем-то походила на некий оазис вблизи шумного города, что манит к себе своей тишиной, красотой и плавностью пёстрого ковра из прошлогодних листьев поверх сочного апрельского газона, что слоится волной жизни и уходит куда-то вдаль. Погода вот уж который день радовала своим весенним цветом, воздух был лёгок и свеж, он словно бы насквозь был пропитан этим тёплым солнечным настроением. Весь тот не особо долгий путь от Лондона к усадьбе Джон неуёмно питал своего внутреннего романтика всеми этими обозримыми и чувственными видами, украдкой, конечно, пытаясь обмануть самого же себя и скрыть всё никак не покидающие его волнения. А волноваться, признаться, было из-за чего, ведь он впервые за столько лет едет на встречу с самим мистером Брэкстоном, с которым он до сего дня знался, а точнее даже сказать, подчинялся ему лишь по переписке. Едва ли стоило Джону закончить какие-то свои официальные дела в центре, как тут же у дверей этого муниципального здания появилась небольшая карета без каких-либо опознавательных знаков. Он ещё удивился: откуда этот извозчик знает его имя, внешность и его распорядок дня? Но немного погодя, попутно любуясь городом, до Джона стало доходить, что вся серьёзность той конторы, с которой он все эти годы переписывался, получал задания и поощрения, что она просто не сопоставима ни с чем, а сам мистер Брэкстон так тем более. Пока карета летела за город, Джон не фантазировал и не накручивал себя, но всё же лёгкий мандраж не покидал его. Вскоре карета подъехала прямо к дверям усадьбы, Джону со стороны она показалась какой-то уж очень таинственной: стоит вся в зелени где-то в отдалении, сад на пригорке дремучий и цветущий, а пред домом дубы вековые стоят, словно бы подглядывают. Карета встала, и чистый, опрятный извозчик вмиг слетел, открыл дверь кареты и сразу же открыл дверь в дом. Весьма удивительное ощущение, когда вокруг тишина, царит спокойствие и совершенно нет прислуги. Дверь стукнула за спиной, и растерянность застала Джона врасплох. Примерно минуту, равную вечности, он замертво стоял посреди холла в перекресте лучей давно уж минувшего зенит солнца.

— Мистер Уайт. Приветствую вас.

Откуда ни возьмись одновременно с голосом появился статный седоватый мужчина лет пятидесяти, весьма ухоженной и подтянутой наружности. Появился, неспешно поприветствовал беспокойного Джона и так же размеренно пригласил его в кабинет, встав подле и молча, поделовому указывая раскрытой ладонью на дверь. Кабинет, куда они прошли, лишь на первый взгляд имел вполне обыкновенный и, может, даже слегка строгий вид, в общем, ничем не примечательный интерьер. Всё как и в прочих подобных домах: массивная мебель, стол, картины, какая-то подручная посуда, просто обстановка, но стоило лишь только немного успокоить свой взор, как глазу начинали открываться весьма любопытные и, признаться, несколько пугающие сознание детали. Герб, в аккурат освещаемый предвечерними лучами солнца, был как-то осо-

бенно замысловат и содержал в себе ряд каких-то весьма нетривиальных символов, узоров и знаков. Под гербом находился вытянутый, овальный стол с небывало ровным суконным покрытием, также вокруг существовали и прочие мелкие предметы и детали, обратив на которые пристальный взгляд можно было явно отметить их особое качество и, вероятно, цену. Но при всём при этом там ничего не было лишнего, ничто не подвергалось акценту и не выделялось броскостью, кроме такта и вежливости хозяина. Сам мистер Брэкстон был твёрд и немногословен, а пронизывающий его взгляд, обрамлённый чрезвычайным спокойствием, был настолько глубок, что мог он уверить кого угодно в том, что пред ним стоит такой человек-глыба, которому совершенно чужды такие понятия, как чувства и эмоции. С начала встречи прошла всего лишь какая-то там пара минут, а Джон был уже весь взмокший, особенно поймав на себе несколько раз этот холодный, умиротворённый взгляд, вследствие чего нервы Джона самопроизвольно принялись закручиваться в спираль.

— Я вас долго не задержу, мистер Уайт. Прошу, — растерянный Джон молча прошёл вперёд. Обстановка и такт ещё больше вводили в его ступор. — Красиво, мистер Уайт? — спросил хозяин, указывая на бархатное панно с кинжалами.

— Д-да, очень, — заикался Джон пересохшим ртом, но вокруг, как назло, не было ни графина, ни бара, ни чёртовой прислуги.

— Ну что ж, мистер Уайт, давайте перейдём к делам. И кстати, да, обещаю подарить вам эти кинжалы. Они с Ближнего Востока. Ручка, как вы видите, из слоновой кости, а алые камни — это рубины, так вот, обещаю подарить их вам, мистер Уайт, но несколько позднее, через несколько лет, а пока... — и снова мелькнул его острый взгляд. — Что вы замерли, мистер Джон? Не нужно, не стоит так замирать, вы же не в склепе, мистер Уайт, пока не в склепе, — улыбнулся тот. Но совершенно было непонятно, где есть шутка, юмор, а где обычная форма делового довлеющего общения. Нервы Джона также не знали, как быть, то ли звенеть, то ли тихонько скукоживаться. Солнце, внезапно выглянув из-за края штор, принялось неистово слепить его, но Джон стоял как вкопанный и не знал, что делать. Сама обстановка, по сути, олицетворяла тот принцип мистера Брэкстона — никогда ничего не усложнять. Этот принцип Джон познал уже давно, ещё в процессе рабочей переписки он внял этой теории, а вот ощутил он этот принцип только сейчас. Проживая эти секунды в полнейшем исступлении, Джон воочию увидел, что нет на свете ничего страшнее, чем: ум, тишина, прозрачность и стальная выдержка. Как гласит весь эмпирический путь развития, человек, пусть даже и весьма успешный или и вовсе главенствующий, так или иначе, любой человек, ввиду своей «внутренней вшивости», рано или поздно всё равно начнёт ёрзать, что-то скрывать, выдумывать, ковырять, отчего вскоре вся его правда сама, без усилий извне начнёт сочиться в тишине этого принципа, а успешность, мораль и дальновидность тем временем уже начинают заметно мельчать, дробиться и утягивать владельца на дно. Джон в тот миг лишь ощутил этот эффект на себе, а вот понять этот принцип, а уж тем более взрастить его, увы, дано далеко не каждому.

— Да, я, это... Мистер Брэкстон...

— Не стоит, мистер Уайт, — всё так же убийственно спокойно перебил его хозяин, — присаживайтесь. Мы с вами достаточно знакомы, пусть и заочно, это нисколько не умаляет того факта, как вы делаете свою работу, и более того, что благодаря ей вы, мистер Уайт, свободно, без сложностей и проволочек делаете и себе же карьеру. Хотите спросить: какую ещё карьеру? — Джон изо всех сил пытался не показывать волнения, но всё же он временами мешкал и непроизвольно выдавал себя. Волнение иногда очень заметно проступало на его уже мало тощем лице. — Вижу, вижу, вопросов у вас много, но ни к чему они, поверьте. Вы, мистер Уайт, несколько лет руководили лабораторией и имели неплохой административный сан при одном из университетов Кембриджа. Да, вы следили за порядком на кафедре математики и оптики, отбирали окружение близ профессора Исаака Ньютона, заботились, можно даже ска-

зять, о нём, и обо всём этом вы лично мне докладывали в письме. Так, мистер Уайт? Я всё верно говорю?

— Д-да, всё верно, всё так и было, — моргал он и слегка заикался, — но вот...

— Подождите, мистер Уайт, — расслабленно, с лёгкой тактичной улыбкой он остановил его пыл. Мистер Брэкстон, словно бы таинственный бриз, вновь приглашал его приветливой рукой к двери. — Давайте пройдемся, мистер Уайт, здесь есть чудесная аллея. Мистер Уайт, вы человек науки, много знаете, пусть местами вы и пронизаны административной нитью, но поверьте, именно эту сторону, именно это качество мы в вас и замечаем. И так как вы человек науки, насчёт неё же я с вами и хочу говорить. Здесь хорошо, тихо, а звёздной ночью, знаете ли, я могу более часа стоять на балконе и наедине с мыслями лицезреть эту бесконечность. Вы пробовали, мистер Уайт, смотреть в тот зеркальный телескоп, что изобрёл сэр Ньютон?

— Однажды! — вспыхнул Джон, не стыдясь ничуть детского задора, но тут же был он перебит. Каждый очередной вопрос, что парировал мистер Брэкстон, был настолько краток и малозначителен, словно бы он был риторическим. В тот промежуток времени для Джона попросту было невозможно вставить какой-то свой более или менее развёрнутый ответ, не говоря уже о размышлениях.

— И глядя на всё то великолепие, я, Джон, знаете, к какому выводу подошёл? Беря во внимание именно научную сторону этого мира, к какому сравнению я склонился? Не знаете? А я вам расскажу, — до чего же всё так завуалировано и скрытно, казалось Джону. Он всё терзался мыслями и гипотезами насчёт важности речей этого мистера, но атмосфера их беседы, их неспешной прогулки по цветущей аллее была настолько непринуждённой, что Джон сквозь растерянность всё же пытался хоть как-то уловить, пусть и частично, весь тот посыл намерений этого загадочного мистера Брэкстона. Он говорил много о серьёзных вещах со знанием дела. — Небо, Джон, ну, вы и сами знаете, оно настолько разное и безгранично, что вполне сопоставимо, в философском, конечно, смысле, с нашим миром. Нет, конечно, я не говорю сейчас о банальном восприятии всей той обширности и красоты нашего неба, нет. Я имею в виду разность всех тех изученных и ещё пока нет космических показателей, а их, вы это гораздо лучше меня знаете, их, этих показателей, огромное подвижное множество. Движения, массы, орбиты, светимость, скорость, дальность, функциональность, наконец!

— А вы это... — Джона аж перекосило от услышанного. Он впервые слышит подобное вне кафедры.

— Да, знаю, знаю, мистер Уайт, вы удивлены, как я погляжу? Не стоит, я много что знаю! — в той же манере он слегка осадил явно заметную топорность Джона, коснувшись его отнюдь не враждебным взглядом. — Так вот, мистер Уайт, вернёмся к небу? Вот смотрите, при изучении эти объекты все имеют свои показатели и задачи, и самое главное, большинство друг от друга не зависят. Более того, если бы они, эти космические объекты, имели некую схожесть с нашим сознанием, то они наверняка бы даже и не знали о существовании прочих им же подобных объектов. Стало быть, величины этих условно обозначенных сознаний, нашего и того небесного, они попросту несоизмеримы. Но при этом каждый наблюдаемый нами и вовек недостижимый объект, он в отдельности в себе несёт опять же несоизмеримый кладезь информации, как о себе, так, возможно, и о нас, помимо, разумеется, каких-то общих, нужных и попутных знаний. К чему, собственно, вся эта преамбула? Думаю, насчёт моих космических взглядов вы со мной согласны? Ведь каждый изучаемый дюйм несёт что-то своё?

— Ну, это-то да... но вот...

— Вот и замечательно, Джон! Люблю, когда все со всем согласны! — Джон недоумевал, но уже не так явно выказывал это, как у него это всё гармонично выходит. Вроде как перебил, причём сделал это поперёк и бесцеремонно, но каждый раз это звучит и выглядит, будто так и должно быть, и местами Джон даже начинал чувствовать себя виноватым. Они продолжали свой шаг, неспешно за беседой повторяя изгиб цветущей тропы. — По сути-то, мистер Уайт,

миру в обобщённом смысле этого слова, ему по сути плевать, миру без разницы, о чём там думает каждый объект в отдельности. Важна система. И опять же обобщённо в небе она зовётся Солнечной. Солнечной системой, и никак иначе. Вы не задумывались по этому поводу? Но опять же я не к этому веду! Вот люди — они же как основа, без людей любая система не может существовать. Вы согласны, мистер Джон? А вот учёные люди, те, кто буром ведёт систему или даже целый свод систем, они, эти учёные, они словно бы как те объекты, и им, по сути, им точно так же безразличен сам фарватер, сама цель, им куда более интересен сам процесс.

— А тут я с вами поспорю, — адаптировался Джон, — вот вы говорите, цель не важна, а как же цель новых открытий?

— То-то же! — мягко, но резко обрезал его мистер Брэкстон, замедляя ход. — Оглянитесь, мистер Уайт! — в его тоне появилась лёгкая довлеющая нотка. Джон послушно оглянулся, затем снова и снова, ускоряясь, он уже слегка панически вертел головой, хлопал глазами и испуганно ничего не мог понять. — Вы снова удивлены, мистер Уайт? — перед его глазами красовался всё тот же дом в вечерних лучах солнца. Хотя всё то время, Джон это безошибочно помнил, ноги шли исключительно от этого дома, да и время никак не могло так незаметно скользнуть, причём намного вперёд.

— Но позвольте, — ошеломлённый, он распалился в недоумении.

— Какова бы ни была ваша версия, мистер Уайт: дорожки ли кривые, магические ли лабиринты нас вновь незаметно привели к истоку, а может, термиты набежали, и пока мы прогуливались, они тут, на другой стороне построили, точную копию усадьбы, или же ещё что-нибудь забавное — всё это, любая ваша версия, как ни странно, будет верна. Идёмте в дом.

Вещал бы кто другой подобные шутки — они бы непременно едва ли на излёте имели привкус какой-то ядовитой издёвки, но эта шутка, во-первых, вылетела из уст отнюдь не чужих, а во-вторых, Джону она показалась действительно смешной, пусть и с обозом неведомых тайн. Он налегке вошёл в дом, затем так же в кабинет. На столе в одиночестве их уже дожидался серебряный поднос с чайным набором, и всё это снова происходило в отсутствие хоть какого-либо намёка на существование в этом доме прислуги, словно бы по велению мысли, по действию теней всё само складывалось ровно, поэтапно и в срок. И к тому же Джон был уже настолько вовлечён в сети мягкой, уверенной харизмы этого донельзя комфортного и глубокого мистера, что он вмиг позабыл все те едва ли минувшие сомнения и нестыковки, что ещё совсем недавно с небывалым размахом возникали у него в сознании.

— Присаживайтесь, мистер Джон. Для чего, собственно, всё то время я склонял вашу форму восприятия основ к некой абстрактной модели? — Джон было только хотел обиженно провозгласить, что это было лишнее, что он как-никак учёный, магистр, вообще-то, и подобные мыслеформы он сечёт на раз-два, но как всегда, из уст деловитого собеседника вовремя пали аргументы. — Здесь схожесть, мистер Уайт, как и в случае с мисс Молли, — с лёгким прищуром говорил он, наслаждаясь очередной шоковой реакцией этого магистра, — абстракция — это же ведь дело такое. Вы же знакомы с такими объяснениями, не правда ли? Это когда вы тщетно всё пытались объяснить беспечной Молли, намекнуть ей и на языке цифр, и на языке природы, что свет наш состоит из спектра семи разных цветов, много было абстрактных попыток с вашей стороны, но для главного, я так понимаю, слов вы не нашли.

— А откуда?.. Про Молли-то откуда? А зачем? Почему?.. — Джон и кипел, и горел, и стыл одновременно, но произнести, как и прежде, толком ничего и не мог.

— Хорошо, мистер Уайт, перейдём к главному, к кульминации, так сказать, дня сегодняшнего. Вы пейте, пейте, чай особенный. Уверяю, такого чая вы более нигде не испробуете! — с серьёзным, но невероятно добродушным лицом, с улыбкой говорил хозяин, не покидая своего массивного кресла. Он немного повернулся и принялся выкладывать на стол какие-то бумаги из бюро. А чай был действительно необычный и притягательно вкусный, а главное, утоляющий несоразмерно волнительную сушь во рту у Джона. — Документы, документы. Наука,

мистер Уайт, а также пребывающие в ней гении — они, причём каждый со своим пропорционально процентным отличием, говоря вашим языком, они все как один видят мир несколько иначе, нежели обычное множество людей. Мир, как вам известно, он очень похож на бриллиант: смотришь издали — всё просто, а глядишь ближе — он многогранен, с множеством искажающих линий. Вот и в мире нет ничего одинакового, всё зависит от точки сборки, от точки взгляда, от угла зрения и восприятия. И учёный, тот или иной редкий гений, он, как правило, глубок и остёр, но при этом он видит весьма ограниченно. И как тот космический объект, этот человек в своей научной стезе, он видит, знает, познаёт, но он совершенно автономен в социальном, политическом, экономическом и прочем мире. Понимаете меня, мистер Уайт?

— Да, да, не до конца, но понимаю! — испуганно выдавил из себя Джон. В то время когда его разум внутри кричал: «Я ни черта не понимаю! При чём тут Молли и планеты, а главное, политика тут-то при чём?»

— Мистер Уайт, вы достаточно продолжительный, а главное, весьма непростой период времени находились рядом с мистером Ньютоном, он, безусловно, талантливый учёный, и право, не хотелось бы вмешиваться в его свободу мысли, так как мыслит этот человек, а точнее, как видит мир на бриллиантовом примере, весьма нестандартно и интересно, пусть порой наивно и внезапно, зато продуктивно и очень глубоко. На сегодняшний день перестала существовать некая стабильность, что вполне логично, ведь статичность — это удел кристаллов, а человек — существо, развивающееся в несколько иных временных рамках, и его жизнь, мышление, взгляды, они подвластны изменениям. После утраты и первого секретаря, и мистера Барроу некоторые информационные каналы остались открытыми, что может перерасти в опасность. Как вы и писали, мистер Исаак Ньютон в последний год совместно со своим новоиспечённым преданным студентом усердно принялся изучать алхимию.

— Да, зовут этого студента Монтегю. Но я не совсем понимаю...

— Ну смотрите, раньше любой прорыв мистера Ньютона проходил ряд проверок, и не всегда научного характера были те проверки, а скорее больше королевского уровня, в результате чего те или иные его открытия выходили в свет, а чуть позже, соответственно, они обретали уже и экономический оборот. А сейчас совершать и контролировать всю эту калибровку некому.

— А мистер Гук? Он же сейчас председатель Королевского сообщества!

— Гук... — тот вздохнул. — Мистер Гук хорош в других, организаторских отраслях, но именно заменить старика мистера Олденбурга он ну никак не может. Вообще, само понятие — заменить человека, оно настолько бездарно, что если таковая замена всё же случается, то по итогу её адаптации она, разрушая свои горизонты, за собой тянет на дно ещё и всю систему целиком, попутно усиленно поедая финансовую и прочие, некогда состоявшиеся части. Заменить можно идентичную деталь, и то износ и амортизацию оставшихся деталей попросту невозможно рассчитать до подлинного конца, дабы завести механизм сразу, без времени на притирку. И это всего лишь механизм, детали, а тут человек и высокое государственное положение. И стало быть, теперь, вместе с мистером Робертом Гуком, будет поэтапно меняться вся система, в том числе и порядок легализации всех научных открытий. Мистер Гук, как вам известно, он не совсем приятельствует с вашим профессором, так сказать. Мистер Роберт Гук — человек весьма социальный, и с головой он редко уходит в какую-либо одну точку, несмотря на то что, наряду со многими, он также умён и талантлив. Но суть даже не в этом, так уж повелось, что умы Оксфорда не особо жалуют вашего не менее учёного брата из Кембриджа, что ж, традиции есть традиции.

— Да, да, мистер Брэкстон, вы снова правы! — активировался Джон и принялся кивать головой и поджимать губы, самостоятельно, малость неумело подливая себе чай.

— А вы же ведь, мистер Джон, когда-то так хотели подарить своему профессору, вероятно в знак уважения, те замечательные каминные часы. Помните? Хотели, но так и не реши-

лись подарить, — мистер Брэкстон немного оттягивал слова, делая меж ними едва ли заметные язвительные паузы. Джон, прекрасно зная свой былой огрех, но совершенно не понимая, откуда об этом ему известно, заметно покраснел, и особенно, наверное, изнутри, но тем не менее виду не подал.

— Какие ещё часы? Что-то не припоминаю...

— Те часы, мистер Джон, которые, к счастью, вы не подарили мистеру Ньютону, к которым, в свою очередь, к этому новшеству в механизме, приложил руку тот самый неприязненный мистер Роберт Гук. И вы знали об этом, но всё же приобрели эти пружинные часики. Кстати, исправно ли они идут?

— Спасибо. Да, идут. Хорошо идут, — и снова секунды, внезапно павшие в вечность, застыли пред глазами Джона картинкой, в которой лёгкая улыбка и таинственный прищур мистера Брэкстона пронизывают его буквально насквозь. Но тут же, в противовес пропасти, на зелень сукна пали гербовые документы.

— Мистер Уайт, вы назначены на должность второго секретаря казначейства Кембриджширского графства, а также вы вхожи теперь в совет комиссаров по делам финансирования новых экспериментальных отраслей, рождённых непосредственно в университетах Кембридж-сити.

— А это, гх, м, это я как? А... — в суете он аж запыхался на месте и понёс что-то сплошь нечленораздельное. И пока мистер Брэкстон провожал его до вновь возникшей волшебным образом изящной кареты, Джон всё то время неторопливого шага продолжал пребывать в некотором пьянящем отупении.

— Давайте, мистер Уайт, доделывайте свои дела в Лондоне, отдохните заодно, а после, по возвращении в Кембридж, вас будут ожидать перемены.

— А как там, что? Я же, это, я же не в курсе дел административных.

— По всем рабочим вопросам вас проинструктируют, не переживайте, — мистер Брэкстон каким-то строгим, генеральским, ясным тоном завершал беседу, — а прочий инструктаж вы, мистер Уайт, как и прежде, будете получать всё спецкурьером в рабочем режиме. Всю корреспонденцию по минувшим делам и задачам вы, соответственно, также будете отдавать курьеру. Вот, держите, это часть официальных документов о вашем назначении. И как говорится, до новых встреч!

Мягкий вечер плавно, понемногу крался по весеннему городу, попутно цинично погружая многих его жителей в плещущие мысли, в юные чувства апреля, будоража тем самым все их внутренние порывы, что так сладко томились долгими зимними вечерами, в надежде однажды ярко и сызнова зацвести. Карета летела на всех парах по пустынной дороге, и бархат столичной ночи уже в преддверии волшебства отъявленно щекотал воображение Джона, то и дело подливая в его пока что ещё не совсем окрепший зоб тщеславия совершенно новый эликсир гордости, теперь уж абсолютно иного уровня. Но также, помимо всех атласных мечт, в его голове поминутно стали возникать какие-то уж совсем ужасающие его сознание мысли и образы, а сопряжены они были с горсткой трескучих вопросов: «Молли! Откуда ему известно о ней? Чёрт! Я не потерплю такого! Что за фокусы? — терзался и фантазировал он, молча глядя в окно кареты, продолжавшей мчать его в Сити. — Это возмутительно! Я, я, я... я второй секретарь казначейства в графстве Кембриджшир! — довольный Джон тут же перевешивал и умолкал, улыбаясь и украдкой облизывая губы. — Мог ли я мечтать о таком? А часы те? — снова в его мозгу возник Джон-зануда. — Часы! Ну надо же... А? Долбанный сэр Гук! Выскочка оксфордская! Я и знать не знал, что!.. Да всё я знал! Знал и об отношении профессора к нему, и о том, какой механизм в себе содержат те часы, всё я знал!» Мыслям не было предела, они, словно бы весенний паводок, то разливались в голове Джона, то бурлили, всё множа и множа площадь его изворотливых раздумий. А в то же самое время, как едва ли мистер Уайт в карете покинул усадьбу, буквально в ту же минуту в вечерней тиши подле вдумчивого

мистера Брэкстона внезапно явился самый что ни на есть настоящий человек-тень. Мистер Гофман, будучи чистокровным немцем, был мало того что дисциплинирован, он был дотошным педантом и любил предельную точность во всём. И выглядел он также соответственно: всегда был статен, суров и в меру подтянут. Он точно так же, как и мистер Брэкстон, был глубок, умён и достаточно мудр, но только в своей социальной нише, где подобная черта некой брутальной наглости в его весьма посредственном окружении местами вызывала даже страх, что обычно способствует цели посреди неоткалиброванной массовой эмоции.

— Понаблюдать за ним, мистер Брэкстон? — сдержанно, в рабочей манере спросил Гофман, стоя подле, как и прежде, с единым на все времена холодным выражением лица, из которого толком-то невозможно было даже хоть что-либо понять.

— Нет, не нужно, Финн. Пусть вначале побалует своё тщеславие да с мыслью новой свыкнется — кто он теперь, — мистер Брэкстон, провожая тающие лучи солнца, плавно щурил глаза и так же неспешно перебирал пальцами браслет с камнями. А с другой стороны, вслед за уходящим к закату солнцем, вместе со свежим юным ветром по голубому, темнеющему небу спешила уже наполовину объята тьмой небольшая тучка, гордо предвещающая неминуемую прохладу в ночи.

— А ежели случится чего? Ведь поселился он в не самом спокойном районе.

— Ничего. Основной пакет документов придёт ему в Кембридж. А на буйство у этого кролика канцелярского дури не хватит. Да даже если он переберёт с элем на радостях, то всё равно, он же ведь романтик, поэтому всё обойдётся.

— Может, вы и правы.

— Более того, — слегка вздохнув по окончании тепла от последнего тонкого лучика света, Брэкстон продолжил, указывая на возвращение в кабинет с уже горящим камином, — у нас с вами, мистер Гофман, и без того на повестке дня дел хватает. Идёмте.

— А именно? Какие-то новые стратегии подоспели? — следуя за ним в холл усадьбы, Финн по-свойски озирался. — Одну минуту, мистер Брэкстон, я распоряжусь, чтобы мне тёплого лечебного вина подали. Сэр, вы будете что-нибудь?

— Вы всё эту гадость греческую на травах пьёте?

— Ну да, приходится. По крайней мере, живот уже не так болит, ноет иногда, но не болит.

— Это хорошо, но всё равно гадость, пусть и греческая! А я, пожалуй, выпью хереса, распорядитесь и на меня.

Мистер Брэкстон встал у окна и на редкость мягко улыбнулся.

— Ночь нежна.
Шелест её близок.
И словно бы волна,
К брегам спешит её робкий призрак.
За окном луна.
Ворох звёзд на ладони.
Это моя английская весна.
И я под ясным небом, словно бы в короне.

— Красиво, мистер Брэкстон, ничего не скажешь, хоть я особо-то и не знаток, — по-свойски замерев, Гофман также тихонько встал у окна.

— Да, красиво, безусловно. Знаете, Финн, в нашей жизни, а особенно в глобальном смысле, в ней, по сути-то, ничего не меняется, а времена, обстоятельства — это всего лишь инструменты, просто текущий расходный материал. И исходя из этого, не каждый, но всё же разумный человек может однажды понять, что он вправе сам корректировать свой вектор жизни, зная наперёд карту примерных взлётов и падений, чем мы, собственно, с вами, Финн,

и занимаемся, только вектор наш более значим и велик, и направлен он исключительно на процветание нашего королевства. Да, процесс этот нескорый, разумеется, в одночасье ничего, кроме внезапной смерти, случиться не может, поэтому мы с вами и формируем систему стратегий на годы вперёд, меняя уже сегодня слои и течения в обществе для последующих солидных поворотов, для будущих грандиозных перемен. Но для этого необходимо заранее, то есть уже сегодня подготовить соответствующий многослойный, крепкий плацдарм. А начнём мы, пожалуй, с неба, точнее, мы уже начали курировать эту широкую научную ветвь с множеством мелких и крупных ответвлений, но на повестке дня у нас пока тема неба. А поможет нам в этом во всём мистер Галлей — молодой, юркий, с горящим фитильком в одном месте учёный. Он уже собрал в кучу часть своих знаний и, опять же не без нашего ведома, издал каталог Южного неба, отчего он, собственно, и стал популярен во многих достойных государственных кругах, но это пока не совсем то, чего мы от него ожидаем. А вы как считаете, мистер Гофман?

— Вы же знаете, в таких вопросах из меня советчик как вода из тумана: вроде полон, а смысл пуст. Я — исполнительная часть, агентурная, но никак не идейная, хех, — усмехнулся строгий Финн. Этот немец улыбался также крайне редко, да и то только будучи где-то в кругу своих. Ходила даже однажды в простом окружении байка, причём такого исключительно бытового, житейского характера, насчёт этого сухого товарища. Будто бы кто-то где-то когда-то наблюдал этого сурового немца в окружении жены и детей, все они смеялись, веселились, ели и пили, так как дело было во Франции. Но это всего лишь байка, а в реальности глянешь на него — аж мороз по спине пробегает от такой окаменелости его лица. А если всё же опустить предрассудки и залезть глубже в этот образ человека, то кто его знает, что там на самом деле скребёт его сердце. Гофман продолжал пить своё горячее вино на травах, обильно удаляя испарину со лба и завистливо поглядывая в тарелку своего коллеги, в которой крайне аппетитно лежали ломтики острого сыра и несколько видов колбас, тех, что были противопоказаны его желудку.

— Галлей, знаете, он впоследствии станет для нас отличным связующим звеном меж двух учёных кучек. В одной из которых сам Галлей, здесь же мистер Рен — любимчик двора и его ближайший друг, сэр Роберт Гук, последнего вы хорошо знаете, мы несколько лет над ним плотно работали. Там же, среди них, есть и ещё один немаловажный, да, пусть малолюдный, но умнейший учёный-астроном — сэр Фламстид. Подобной закрытостью они, кстати, и схожи с центром иной стороны, с сэром Исааком Ньютоном. На будущее вы можете быть совершенно спокойны, если они уединятся в долгой беседе, поверьте, ничего из ряда вон, кроме глубин науки, которых ещё не видывало человечество, более ничего опасного там нет. Там, конечно, что в одной, что в другой учёной кучке имеется ещё целый список важных лиц, но это детали, которые я вам позже подробно изложу.

— А Галлея не погонят взащей за то, что он и вашим, и нашим?

— А он и так туда-сюда. Эдмунд Галлей — хороший малый, шустрый, правда иногда более, чем требуется, и болтливый чересчур, но это нам порой и на руку.

— Ложную информацию через него запускать будем?

— Нет, нет, ни в коем случае! Мы же не солодом торгуем и не о погоде говорим! А стало быть, результат должен быть гарантированным, так как даже министры Короны не всегда в курсе наших дел. Ну да ладно. Суть-то, мистер Гофман, на самом деле проста, как ясный день. После кончины Ольденбурга единственно чистый ручеек в мир для сэра Исаака Ньютона иссяк, а Роберт Гук, в свою очередь, из-за своей неприязни к нему и Кембриджу в целом, он даже не почешется, чтобы хоть как-то форсировать что-то новенькое и интересное.

— А зачем тогда он председатель?

— В том-то всё и дело, Гук — отличный председатель! Юркий, цепкий, нагловатый, в конце концов, пролезет и возьмёт там, куда другие даже и не решатся взглянуть, но и учёный он талантливый. Заменить его можно или убрать вовсе, но для этого нам и некоторым министрам

придётся перестраивать всю отрасль целиком, сызнова всё с самого что ни на есть нуля, а на это уйдёт одному Богу известно сколько лет.

— Кстати, насчёт Господа вопрос. А мистер Галлей не слишком уж рискованная лошадка? Он вот уже некоторое количество раз довольно-таки открыто говорил о своих атеистических взглядах. Да, он внёс огромный вклад для страны, для флота, составив каталог звёзд, но всякое может случиться, тем более он ещё и любитель шататься по странам, а вопрос инквизиции, знаете ли, не везде ещё на таком, как у нас, цивилизованном, лишь переговорном уровне.

— Да, да, Гофман, вы правы. Надо подумать, как и какой урок, с какой стороны к нему подвести. Вы правы, да, точно.

— Да, надо будет этот урок как-то обыграть, а то, знаете ли, мы дождёмся и, быть может, даже увидим, как однажды обнажённый Галлей побежит по Лондону, словно бы тот Архимед, и будет выкрикивать что-то вроде: «Эврика! Эврика!»

— Нет, конечно, — по-дружески слегка улыбнулся мистер Брэкстон, — этого мы ждать не станем, что-нибудь по ходу проекта придумаем. Мистер Галлей и так чрезмерно импульсивен, а в ближайшие годы тут ещё и комета эта на небе появится. Из ваших же, коллегиальных слов, он уже всех в обсерватории достал с этой кометой. Также из других источников нам известно, что именно у сэра Ньютона есть навык точного расчёта небесной механики, поэтому приткось Галлея пока никак нельзя сильно тормозить. Ведь эти и многие другие озарения Ньютона, они вполне могут так и остаться в каракулях его черновиков, а после, соответственно, всё это канет в Лету, отсрочив таким образом интересы и страны, и мира в целом. А запустив миротворца, а именно Галлея, в ход, мы и выгоду поймеем и наладим некие связи меж их, так сказать, научными компаниями.

К ним присоединились ещё несколько равных участников их сокращённого круга тайных государственных дел.

— А вы не боитесь, мистер Брэкстон, что та ценная научная информация из черновиков запросто может попасть не в те руки, а хуже того, если она попадёт вообще во вражеские агентурные сети? Нет, ну вы, конечно, руководитель и больше моего знаете, куда, что и как, но они же ведь тоже не дремлют, я имею в виду врагов.

— Харрисон! Вот теперь я вас узнаю! У вас же есть дети?

— Мистер Брэкстон, у меня уже внуки даже есть, и вы это прекрасно знаете!

— Знаю, знаю, — с улыбкой прищурился Брэкстон, — ну, вот вы, глядя пристально на какое-нибудь из творений своих собственных уже внуков, вы там что-то можете понять, что вы способны обнаружить?

— Ну, дак, там, это...

— Правильно, какая-то мазня с общим направлением. Вот точно так же дело обстоит и с барабаном вместе с дудочкой — у взрослого голова, глядишь, уже скоро может лопнуть от такой какофонии. Ведь так?

— Ну, допустим. А при чём тут дети?

— Да при том, мистер Харрисон, что мазня на листке одарённого, образно говоря, ума и мазня на листке дитяти — они по своей форме, поверьте, не имеют отличий. И расшифровать, услышать да разгадать подобные свитки может лишь автор этого папируса. «Большой ум», он же ведь в некотором смысле идентичен детскому уму, а точнее будет выразиться, не столько сам ум, а именно лёгкость воображения. Вот он играет, бегает, прыгает или водит пером по бумаге, и именно в этот момент он не здесь, он там, в иллюзии, да и сам он на самом деле не он, а герой его воображений. И чтобы понять всю ту учёную белиберду, автору даже спустя годы необходимо просто взять и вспомнить, погрузиться в то самое состояние ума, когда он это творил, для автора это несложно. Это, знаете, из тех случаев, когда вы уже в возрасте или вообще, вон, как Харрисон, уже стали дедом, вы зачем-то лезете на старый чердак и находите там случайно какую-то корягу, берёте в руки и с улыбкой зависаете на месте. Вам говорят:

«Что это за мусор?», а вы в ответ: «Да как же? Это же ведь журавль в полёте! Я точно помню! Неужто вы тут не видите журавля?» Так и выходит, что эти образы доступны лишь вашему воображению.

— Мир иллюзий, он безграничен, это точно. Об этом, кстати, Платон писал, благо, часть Александрийской библиотеки евреи вовремя купили, отчего много сакральных знаний сохранилось и бесконтрольно не попало в мир.

— Я слышу, слышу и прекрасно помню все ваши конфессионные намёки, мистер Крейн, на тему вашей религиозной стези, я это помню, — продолжил Брэкстон в рабочей манере, сидя на своём месте, в массивном кресле, — более того, данный вопрос, сроки его реализации требуют, я так считаю, ещё дополнительной обработки. Этот вопрос, вы сами это знаете, он пока терпит, так что, мистер Крейн, мистер Харрисон, не торопите события, вскоре мы посвятим этому вопросу отдельное собрание, а пока, знаете, много других неотложных дел.

— А ваш, кстати, человек, он уже в казначействе графства? — перевёл тему Харрисон.

— Да, после выходных уже приступит к своим обязанностям, — пояснил мистер Брэкстон, — он давно с нами сотрудничает. Смотрите, не передавайте там его поначалу, он немного хрупкий на характер.

За окном уж совсем стемнело, появилась луна, и на плечи по идее должна была опуститься усталость, но Финн краткими периодами всё же продолжал заметно ёрзать, у него из головы всё никак не выходил Джон, оставленный без наблюдения, ведь этот не совсем твёрдый духом человек без труда мог вляпаться во что угодно, Гофман всё не переставал натывать на свои беспокойные мысли. Но тем не менее вечер шёл своим чередом, с виду это был самый обычный небольшой вечерний приём в усадьбе элитного района Лондона. Ничего примечательного-то и не было, четверо солидных и несколько разных мужчин сидят в кабинете, выпивают и что-то по-джентльменски обсуждают, в то время как на другой, более светлой половине дома, там под изящные звуки музыки вкушают веселье роскошные дамы, и с ними прочий бомонд. В любом подобном доме традиционные мужские собрания нередко связаны какой-то тайной, а быть может, даже уставом или вовсе каким-нибудь орденом, поэтому эти уединённые беседы ни для кого не являлись каким-то вычурным фактом. Это даже в какой-то мере стало модным, и многие сообщества, соответственно уже абсолютно разного сословия, также создавали подобные закрытые собрания. Какие-то из них, разумеется, имели серьёзный характер, а какие-то были и вовсе основаны на общих интересах, таких как азарт и прочий коммерческий контекст. Вскоре тайный вечер у камина был окончен, и мужчины во главе с хозяином к ужину поднялись наверх. Гофмана с ними не было, он редко выходил в свет, да и из-за какой-то болезни живота он был крайне избирателен в еде и напитках. Его всё никак не покидало предчувствие насчёт Джона, в итоге он всё-таки принял решение и молча отправился на другой берег Темзы, туда, где находился более суетный мир города. Джон, бесцельно гуляя где-то неподалёку от гостиницы, волей-неволей временами по пути наталкивался на всевозможные сцены, лица, заведения не самого лучшего района Лондона, где он остановился в целях экономии средств. И наконец, найдя более или менее подходящий паб с интригующим названием Unhurried Fish, он вошёл, но по-прежнему всё не переставал пугливо озираться по сторонам. Его смущали то звуки, то запахи, то откровенный гомон где-то над ухом, но несмотря ни на что Джон, пусть временами даже немного и брезгливо, а где-то и вовсе испуганно, всё же намеренно шёл вперёд, ведь лечь спать голодным не было никакого желания. Да и отметить, честно говоря, такое событие ему очень и очень хотелось, пусть даже чуть-чуть, хоть самую малость, но всё же вкусить этот свой новый статус, пусть даже и в подобном окружении, ему было необходимо. Куда-то ехать было уже поздно, к тому же дела были намечены на утро, да и, откровенно говоря, жалко было тратить столько денег. Он скромным, малозаметным гостем сел за столик у окна, что-то заказал и удивлённо про себя усмехнулся, заметив в конце залы пару китайцев, вероятно работающих в этом пабе, после чего принялся традиционно и молча-

ливо размышлять да воображать перспективы своей новой жизни. Сумерки к тому часу уже окончательно скользнули на сторону тьмы, повсеместно зажглись фонари, и мерцая в темноте, тёплые огоньки лишний раз подчёркивали своим звёздным ореолом всю густоту и истинную вязкость ночной темноты, что издали так страшит своей пустотой. Правда, точно такими же качествами обладал и густой тёмный эль, хотя задачи его были отнюдь не печальные, совсем напротив, эль охотно и скоро умел налаживать контакты с миром, особенно соприкасаясь со всей скулящей пустотой желудка, отчего недоверчивый взгляд Джона мгновенно становился менее резок и колюч. Он кушал, хмелел и всё продолжал грезить: «Это же ведь теперь мне и жильё, и прочее там, м-да, а главное, уважение, — всё же с каким-то презрением он иногда поглядывал и на улочку, и на рядом сидевших, галдящих людей, — м-да, это же у меня теперь будет нормальная казённая квартира. И в рестораны теперь нормальные я смело стану ходить. Почести там разные, власть же я теперь как-никак! Да!» — он снова окинул взглядом зал, но на этот раз уже с долей какого-то пренебрежения. Но также в этот миг он заметил, как на него пристально уставилась одна откровенная, с виду очень страстная девушка, и тут же вся его надменность, конечно, пала. Гофману, кстати, в тот вечер не составило особого труда отыскать приезжего интеллигента. В том муравьином районе, где каждая вторая крыса мечтала стать его агентом, на самом деле там никто и никогда не знал и даже не догадывался, кто он есть такой и на кого он работает, но тем не менее Гофман среди всей той коды имел не то чтобы уважение, скорее его просто старались обходить стороной, так, на всякий случай. Поиски Джона в любом случае увенчались бы успехом, но на этот раз не пришлось задействовать совершенно никакие резервы. Проходя по основным людским маршрутам, Финн попросту не мог не заметить в окне под красным зажжённым фонарём не самого консервативного паба уже изрядно покосившуюся знакомую морду, которая вот-вот падёт ниц пред ловкими и умелыми рабочими чарами девиц и их крепких друзей. Но смутили Финна даже не эти банальные пьяные шалости будущего чиновника, а какую-то настороженность вызывала сама обстановка, что неким скрытым поветрием кружила подле Джона. Благо, черты Гофмана, так или иначе, были мало кому известны, несмотря даже на его такую активную деятельность в подобных районах. Но всё же Финн надвинул на лицо поля шляпы и, изобразив уже порядком расслабленного, но культурного джентльмена, вошёл внутрь, взял пинту эля и сел неподалёку, за обзорный столик в углу возле большой кадки с каким-то раскидистым пальмовым растением. Слив тут же часть пива в цветок, Гофман внутри себя умело включил повышенную концентрацию и, не вникая общему шуму, абстрагированно выделил для себя лишь два абсолютно разных, не имеющих друг к другу ни малейшего отношения столика. За ближайшим к нему несложно было понять, кто за ним сидит, а также проследить всю ту преступную цепочку, которую к себе так охотно подпускал интеллигент мистер Уайт. Вероятно, по незнанию или же просто по недомумию, Джон сам сел за этот пустующий столик под красным фонарём, анализировал, составлял картину событий Гофман. Ведь сей знак, в виде такого фонаря в этом районе, как, впрочем, и всюду, означал лишь одно, что человек желает отдохнуть. После всех тех не так уж давно минувших свободолобивых, революционных нравов власть-то пришла в порядок, а вот социальные отзвуки распутной морали в некоторых закоулках тормознулись и даже успешно успели пустить корни. И далеко не секрет, что всюду да во все времена подобная сторона распутной сладости сопровождалась некими криминальными структурами, и соответственно, вопрос об обработке того или иного клиента решался, как правило, всегда по обстоятельствам. А внешний вид уже изрядно подвыпившего романтика, пусть и с серьёзным лицом, как нельзя краше, располагал к фантазиям тех угловатых лиц из жёстких структур. Но это был лишь первый и понятный столик, а вот второй стол, что находился в центре залы, был Финну пока что непонятен. Яркий, заметный, крикливый контингент бесновался и со стороны выглядел вроде как самый обычный пьяный набор вполне себе заурядных рыл, но опытный глаз Гофмана спустя какое-то время всё-таки сумел разглядеть в том окружении один хищный одинокий взгляд,

что добросовестно был замаскирован в том ревущем галдеже. В общем-то, паб был довольно-таки опрятен и чист, столы регулярно протирались, а кованные под феодальный стиль фонари светло висели на декорированных кирпичом столбах, коптя и весьма неплохо освещая заведение. Ещё вдоль одной из стен зачем-то стояли два тусклых рыцаря, а точнее их доспехи, а над ними красовался большой корабельный штурвал. Что к чему? Где были все те линии, связывающие воедино название паба с китайцами и с этим странным интерьером, конечно же, ни трезвому, ни пьяному глазу эту связь было невозможно отыскать, хотя, располагаясь в этом районе Лондона, логика порой могла быть и вовсе излишней. Меж тем весь этот чад был ещё ажурно украшен и музыкальным квартетом, среди которого имелся любимец публики — курчавый скрипач, он то и дело ходил меж столов по забитому до отказа, пьющему, орущему пабу и извлекал до костей трогательные мелодии. Гофман продолжал тихонько сидеть, время от времени поливая пивком заморский цветок и изредка неприметно вступая с соседями в диалог. Для него весь этот зал, весь этот гомон, в принципе-то, не значил ничего, в его крепком сознании всё это имело абсолютно второстепенную значимость, видимость и громкость. В его поле зрения, помимо общего вязкого чада, чётко прорисовывался некий треугольник, в котором была одна наивная жертва и два охотника с горящими по-своему глазами, а сам он при этом находился в роли тайного наблюдателя. Сложность заключалась в том, что в какой-то момент среди той шумной компании он узнал, он вспомнил этот скользкий взгляд. Это был Том, Том Роут — брат книжника Сэма Роута из Кембриджа, который к тому времени уже владел небольшой сетью книжных лавок и весьма мутных ломбардов. Гофман, конечно, на многие его дела закрывал глаза, взамен, разумеется, получая незаконную информацию о многих людях, точнее информацию об их быте, привычках и местах, куда при случае можно было бы их ужалить тем или иным компроматом. «Что он здесь забыл? Это ладно, это паб, это его дело. Но вот какого ему надо от Джона? — размышлял Финн, продолжая сидеть в тени. — Странно! О назначении Джона ещё никому не известно, а сам по себе он-то голодранец. Что может быть в нём такого примечательного? Всего лишь бывший аспирант, работающий ряд лет под боком сэра Ньютона. Нет, это не деньги! Здесь что-то другое, что-то мутное, и мне это кардинально всё не нравится!» Гофман, размышляя, периодически продолжал покупать себе что-то из меню, дабы не вызывать ни подозрений, ни гнева торговли, при этом он искоса, не вмешиваясь, всё наблюдал, как мистер Уайт, опёршись на руку уже вымокшим лбом, сидел и мило, витиевато беседовал с какой-то напудренной и готовой ко всему дамой.

— Какое счастье, вы себе не представляете! Мадам, вы... Вы... Вас зовут мисс Молли... Ммм, о, ваше имя словно нектар...

— Вы такой мужественный! Вы такой настоящий! И мне, знаете, очень часто мечтается, мне так хочется остаться наедине с таким, как вы, и со своими грёзами, я прям мечтаю, да, я люблю мечтать. А вы любите мечтать? Я так хочу оказаться, просто побыть, побыть рядом в тиши, рядом с таким джентльменом, как вы. Эх... мои мечты...

— Молли! Молли, да, да! Мечты — это очень, это очень прекрасно! — Джон уже окончательно входил в стадию пьяного романтика, но на этот раз к его образу прильнула ещё и небольшая напыщенная важность.

Зато вид Гофмана был, как всегда, строг и нейтрален. Вообще, очень часто складывалось такое впечатление, что этот его довлеющий угловатый вид, что он заимел его ещё в самом детстве, ну, или же чуть позже, вероятно, при иных, при каких-то ну уж очень особенных обстоятельствах. А вот где именно, при каких обстоятельствах судьба поспособствовала обрести ему эти черты — это была большая неуловимая тайна, впрочем, эта тайна имела в своих активах не только его образ, а поглощала она его в принципе целиком, всю его жизнь, как снаружи, так и извне. А за окном уже совсем наступила ночь. Финн всё продолжал искусно играть роль подвыпившего постояльца, и чем дальше продвигался сюжет этого вечера, тем сильнее сквозь угол своего образа он замечал за тем шумным столом точно такого же неподвижного конку-

рента. Том Роут так же фальшиво, как и сам Финн, продолжал веселиться в кругу разнузданных лиц, и взгляд его также продолжал оставаться трезвым и напористым. А тем временем сама цель всё обростала и обростала то девицами, то соплями, оголяя тем самым свою мишень для безразличной тетины местного сброда. И судя по всему, решений на его счёт пока никаких принято не было: или довести его до подворотни и там вывернуть карманы, или же пойти по другому классическому пути с пьяной любовью и беспамятством поутру.

— Молли, вы такая... Молли, а идёте ко мне! Я вам про звёзды расскажу, всё расскажу, — Джон уже отвратительно пошло пытался выдавливать из себя романтика, он всё вожаделенно облизывал губы и с нетерпением ожидал, пока она кокетливо, как ему казалось, собиралась с ним на выход. Джон с изрядно помутневшим взглядом всё восхищался, он с упоением глядел на то, как же она грациозно запахивается, как она изящно умеет замирать в одной позе и как тонко при этом, словно бы ангелочек, она слегка теребит указательным пальцем кончик своего носа.

— Вот бывает же в жизни такое... Молли, вы просто обворожительны! — Джон, выходя из паба, предложил ей свою руку, на что она, естественно, ласково, по-рабочему отреагировала и прильнула к нему. — Всякое бывает, случается, знаете ли, Молли. Вот он всё-таки такой, этот... — он уже просто и впустую ронял некогда жужжащие в голове умные слова. Кроме Молли, он уже ни о чём более думать не мог. — А и чёрт с ними со всеми! Хоть он и знает, всё ведаёт, и взад, и вперёд, и я это... ничего тоже, то ни эта... да... — он всё что-то бурчал, мычал, идя по дороге, изредка взмывая руками к небу, к звёздам.

Немного погода вслед за этой парочкой, на ту же не слишком уж и широкую проезжую улочку торгового района Лондона вышли две незнакомые друг другу компании. Они вышли из того же паба, вышли, как и полагается, шумно, а некоторые из тех и вовсе откровенно спьяну выпали из того полуночного питейного заведения. Время ещё не слишком уж критично сулило закрытием, но тем не менее в один момент на улице, меж невзрачных каменных домов ещё свежей постройки, образовалось два шибко смеющихся, крикливых потока. Шутки, смех, дамы, фонари, путаны, редкий кеб где-то звякнет подковами, ночь, луна и запах апреля. Привкус дикой весны произвольно витал повсюду, он будоражил грудь, сжимал чувственные сердца, беспощадно кружил головы и, дополненный элем и вином, с малость кривой улыбкой создавал новые влюблённые пары. Том и Гофман — два трезвых игрока одной тайной слежки — ничуть не выделялись из своих компаний, как и все, они неторопливо шли вперёд, балагурили и даже пели, у кого-то в руках откуда-то вдруг появилась звучная мандолина. Парочка, Джон и Молли, оторвавшись, свернула на двор отеля, а компании тем временем продолжали неспешно топтать вперёд, очевидно в сторону площади. Том также шёл где-то подле, но ни бандитов, ни хулиганов на горизонте нигде не виднелось, и Гофман даже начал понемногу отпускать ситуацию, ссылаясь, быть может, на усталость. Он вдохнул ночной воздух, отбросил часть напряжения, и коснувшись лирической волны тонко и чувственно певшего рядом парня, он слегка проникся, и в его голову вновь влетели старые картинки. Вроде бы нелепость, угловатый с виду мужчина, по року не обретший чувств, идёт и подтаивает от красивой песни. А летели ему из памяти солнечные дни, летний газон, запах хлеба, река, лёгкий ветер, парус вдаль и вкус то ли вина, то ли губ любимой женщины. Её божественные губы и утончённый совиный-блан — они были так схожи, что Финн просто и счастливо растворялся в нём целиком. Солнце, спящие блики и её смех, от звона которого внутри клокочет всё, всё, что только может. Она хрупкая, в белом платье, Финн берёт её и играючи подкидывает прямо к солнцу и тут же ловит и снова целует. Эти мысли, воспоминания в ночи заставили угрюмого Гофмана даже слегка улыбнуться. Улица уже кончалась, и с вопросом — что делать дальше — он невольно оглянулся. Смех и шум окружения также продолжались, но в этом во всём уже не было Тома, его вообще нигде не было видно. Гофман замедлил шаг, параллельно проклиная свои тайные слабости, и принялся тщательно оценивать сложившуюся ситуацию, ни внешне, ни внутренне,

разумеется, не подавая ни малейшего вида. Он снова пристально и чётко оглянулся, при этом вслушиваясь во всё, что только может издавать звуки: в слова идущих рядом, в дома, в кусты, в линию окон, и уже немного отстав от уходящего вперёд шлейфа веселья, Гофман полностью абстрагировался от текущего потока и уже экстренно стал искать и на слух, и на глаз и Тома, и Джона. Мандолина понемногу отдалялась, но продолжала свою бойкую песнь, и едва ли не наступила растерянность, как позади себя Гофман услышал какую-то возню, а доносилась она из мелкого, совершенно левого гостиничного переулочка. Те вкрадчивые звуки имели больше мужского тона, и носили они, судя по всему, уж явно не позитивный характер. Доносилась брань, звуки ударов, какие-то редкие и одинокие возгласы дамы, причём голос тот не верещал, как должно было быть в подобных случаях, а он, напротив, негромко что-то вещал на своём птичьим языке, сопровождая тем самым эту мужскую разборку. Финн смекнул, что к чему, и тут же схватил под руку телепающуюся в хвосте уходящей компании, вульгарно разодетую даму и направился с ней якобы в отель.

— Эй, эй! Руки! Руки убрал! Тебе чего надо? — дерзила она, но руку при этом она от него не отдёргнула.

— Заткнись! — отрезал Финн.

— Ммм, да ты грубиян, мистер, — и дерзила, и кокетничала дама.

— Заткнись, я тебе сказал! Работай давай! Молча работай!

— Ммм, грубый, сильный, приказывает! Всё, всё, молчу! Идём, идём же скорей!

К отелю шли они уже достаточно быстрым шагом, откуда, если верить слуху, и доносились хлесткие звуки уже не просто пьяного спора, а хорошей бойни. Подле крыльца никого не было видно, и Гофман, не отпуская даму, шагнул в сторону гостиничного сквера, за границу фонарного света, где правила лишь ночная мгла.

— Эй, куда? Слышь, я в парке не буду! Эй!

— Заткнись, я тебе сказал! Просто побудь рядом!

— Какой дерзкий...

И едва ли они поравнялись с торцом здания, как взору открылась картина: в смятении перед ними стоит путана и не знает, заорать ей или нет. Если заорёт, то появятся свидетели, а случись кому умереть в той драке, то обязательно выяснится, что те двое с ней заодно. И как быть? А чуть поодаль, в густой темноте, проглядывалось, как три мужские фигуры бьются не на жизнь, а на смерть, причём одна из тех фигур явно имеет превосходство. Этот один, словно бы с цепи сорвавшись, по очереди метил тех двух, а те то поднимались, то падали и вновь нападали на него с кулаками. Но вскоре тем двоим, видать, надоело собирать тумачи, и отблеском где-то мелькнул нож, а затем он звякнул о тротуар. Каждый шаг измерялся мгновениями, и дело уже шло на секунды, Гофман, не зная пока, что делать, прижал девицу к себе, якобы они влюблённая пара, и здесь, в сквере под луной, они завершают свой вечерний променад, и им совершенно недосуг до прочих мирских баталий, да и вообще, им не до людей. Один из тех двоих, получив шикарнейшую оплеуху, крутясь, падая, спотыкаясь, сызнова ловко ускользнул куда-то прочь, в противоположную сторону от стоявшей в полутьме Молли, а второй, совсем почти обессилив, подле кустов стоял на одном колене и что-то бранно вопил. И пройдя незаметно ещё буквально несколько шагов, взору открылось лицо того третьего — это был Том. «Так, эта здесь, те двое, судя по всему, её сообщники, этот Роут тут, а где сам Джон? Где мистер Уайт? Секретарь, мать его, казначейства! — Гофман в злости и недоумении говорил про себя, в поисках вертя головой, пока его спутница пыталась что-то там ласково лепетать. — Так где же этот придурок?»

— Молли! Молли! — откуда-то со стороны кустов шёл этот невнятный, мычащий голос. — Вы, Молли, не просто это, то, это... Вы, Молли, вы, вы богиня!

Пьянющий Джон, первым поймав разбойничий кулак, тут же навзничь пал на землю, откуда подниматься он не желал, так и ползал, сидел-стоял на четвереньках, толком не пони-

мая, что тут вообще происходит. Тут же подрос Том и подал ему руку, что-то спросил, проверил, мол, цел ли, всё ли на месте, и убедившись, что всё в порядке, повёл его к номеру, попутно пригрозив стоявшей в растерянности этой псевдо-Молли. А Гофман, всё не отпуская миледи, стоял и, недоумевая, продолжал наблюдать всю эту странную картину со стороны. Джон продолжал что-то мычать, с трудом передвигая ноги, он всё звал Молли, причитал и собирал всё до кучи, засыпая на ходу, пока не последний человек из криминального мира Кембридж-сити волочит его, судя по всему, до безопасного ночлега. А для чего и зачем так понадобился ему этот мистер Уайт, да так, чтобы и следить за ним, вероятно, не один день, ехать за ним и защищать его к тому же, зачем? Это был тупиковый вопрос для Гофмана, для профессионального человека-тени.

Кембридж. Англия.

Лето 1682 г.

Странное дело эта самая жизнь! Вот все ждут, когда время придёт, а оно ведь только уходит. У каждого, естественно, есть свои взгляды на жизнь, на свет белый, и ощущения этой самой жизни также у каждого свои. Возможно, в чём-то они, конечно, и поддельны, притянуты какой-то общей нитью к выбранным скрижалям времени, к ориентирам эпохи, но, по сути, эти ощущения, что есть в человеке, они неповторимы. У каждого свой задел, свой шаг, свои лучи, отрезки и повороты, вроде всё понятно и прозрачно, но бывает и так, так случается, что, увлечшись чем-то очень глубоко, взор человека ограничивается и погружается в какое-то другое, своё измерение. Солнце взошло, а его никто и не заметил. Большинство не видящих солнца, да, они, конечно, натурально топчут пути рутины, тянут, так сказать, лямку, и тот естественный ход времени им уж давно так рьяно не бросается в глаза, но существуют в том остатке большинства и иные тому причины, за исключением, конечно же, влюблённых, их слепота — это вообще отдельная вселенная, не поддающаяся изучению. Есть также и ментальные погружения в глубины, откуда разум человека достаточно редко обращает внимание на какую-либо обыденность. С подобным как раз так часто сталкиваются творческие и учёные личности, особенно в моменты переживания своих длительных непролазных экспедиций к своим целям. Они с потом и болью пронизывают все те пути своим характером, своей тотальной вовлечённостью в дело, отчего со стороны эти учёные и творческие люди часто и кажутся многим, будто бы они попросту витают где-то в облаках. Так вот, однажды в подобный капкан вовлечённости и попал Эдмунд Галлей, ему всё не давала покоя одна комета. Он и раньше-то был с головой погружён в ночное звёздное небо, а из регулярных путешествий он максимально ёмко привозил, нет, не дары, а цифры, статистику, научные наблюдения и полезные открытия, но на этот раз его научная прыть и амбиции первооткрывателя обрели уже совершенно иную степень кипения. Последние года три, практически сразу после публикации его каталога звёзд южного неба, он стал словно бы одержим. Галлей безвылазно увлёкся историей одной кометы, которая, спустя чуть более семидесяти лет, должна была вот-вот снова показаться на небосводе.

В Кембридж-сити мерно двигался вперёд самый обыкновенный день. Он привычно нёс в себе всю летнюю суету, обильно витающую исключительно близ университетских площадей. Ну а в целом был день как день — ничего особенного: равномерно пасмурное небо, стабильность в давлении и традиционная неспешность улиц, правда, местами пульсировали абитуриенты и эмоционально переживали родители. Галлей к тому году, будучи уже весьма известной личностью в мире науки, по-прежнему продолжал сохранять внешний облик молодого человека, впрочем, эта его молодость также приходилась и на его эмоциональный, порой очень даже импульсивный фон, хоть ничто из того абсолютно никак не умаляло всех его талантов. Примерно после обеда он пулей вылетел из дверей Тринити-колледжа, затем стремглав протиснулся сквозь толпу студентов и, чуть ли не подпрыгивая, направился к Ньютону.

— Скоро, скоро, уже скоро! — с порога вещая, влетел он в кабинет. — Вы не представляете! Скоро, буквально вот уже в самом начале осени она будет уже зрима! — он безудержно слонялся по комнате, жестикулировал и восторженно тараторил. — Сэр Ньютон, вы даже себе представить не можете, насколько ваш вклад, ваш телескоп повлиял на меня! Да и не только на меня! Но я...

— Да, да, приветствую вас, мистер Эдмунд, — не поднимая головы и не отрывая пальцев, Ньютон одновременно сверял что-то в трёх или даже четырёх книгах и в паре толстых тетрадей, раскиданных по столу.

— Сэр, друг вы мой, я только что из библиотеки, точнее даже сказать, из архива. Признаться, я даже уже счёт дням потерял, — Галлей продолжал нервно метаться по комнате, мимоходом-таки решив заодно засунуть свой нос в обеденный серебряный поднос, что стоял на другом конце стола. — О! А это что тут у вас? Булка? Или пирог? Ммм, с капустой! Я позаимствую? — уже жуя, спрашивал он.

— Вы же в Лондон уехали, мистер Галлей? Какая библиотека, какой архив?

— Ммм, — недовольно покривился он, — сэр Ньютон, вы, как всегда, в своём репертуаре! Я чуть зуб не сломал! Этой булке, этому пирогу, чёрт, дня два, не меньше! Вы снова, вероятно, чем-то увлеклись и позабыли о делах насущных.

— Что там с библиотекой? — совершенно спокойный, будто бы даже и не слышавший того отрезка бытовых эмоций, он продолжал свои рабочие сверки, при этом он умудрялся ещё и что-то записывать в отдельно лежащую тетрадь.

— Библиотека, а, да! Прилетит! Уже скоро, совсем уже скоро прилетит!

— Кто прилетит? Серафим?

— Ну я же вам уже говорил, рассказывал! Помните? Я и писал вам, комета прилетит, появится! Обозримо она вот-вот уже появится, буквально в этом году! На востоке она, конечно, будет лучше наблюдаться, где-нибудь там в Варшаве или Киеве, но любоваться ей мне недосуг, я же не художник какой-нибудь. Я и явился к вам так внезапно, мне говорить с вами нужно, может, вы натолкнёте меня на мысль, может, откроете мне что-нибудь. Вы же всегда тем и отличаетесь, что мыслите нестандартно, оригинально, чего мне сейчас, знаете, очень не хватает.

— Поговорить-то я только за, но на это, — Ньютон то тянул, то делал паузы в словах, так и не отрываясь от пристального процесса сверки данных, — на это... на это надо выбрать время. Ведь ваш вопрос-то наверняка потребует не одного часа на толкования? — он вновь записал что-то в толстую тетрадь и задумчиво встал у окна. — А времени... Чёрт, а может, всё дело во времени? В сроках? Оттого и реакции такие...

— Сэр, вы тут? Вы это сейчас кому говорите? — с иронией напомнил о своём присутствии Галлей.

— Конечно же, всё дело во времени! Вы умница, мистер Галлей! — Ньютон с улыбкой и каким-то торжеством впервые за весь их этот диалог, наконец, теперь уж прицельно и точно посмотрел в глаза мистера Эдмунда. Воспрянув, он точно так же, в порыве схватил с подноса другую оставшуюся часть того же самого чёрствого пирога и начал привычно жевать, крошить и энергично топтаться и ходить от стеллажа к столу, а от стола к окну. При этом он всё что-то позитивно приговаривал: — Поговорим, обязательно поговорим, но не сегодня, мой друг, это точно. Поговорим, поговорим!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.